

Моя Кремль

БЫЛОЕ

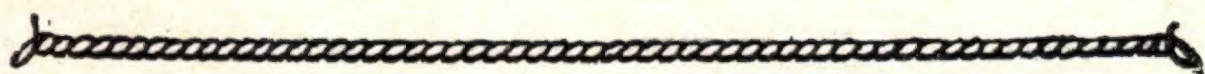
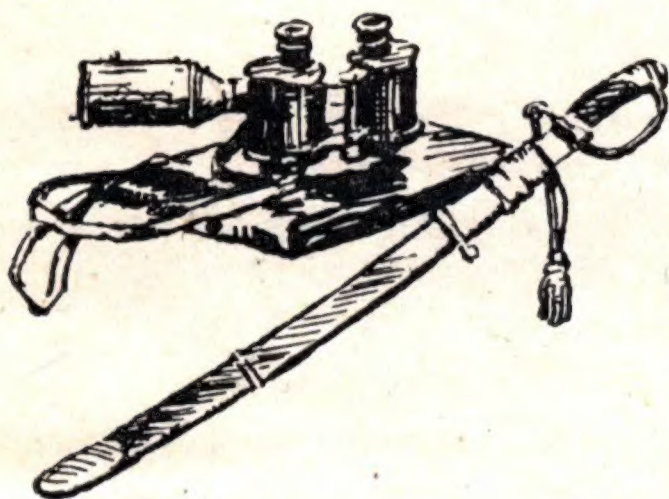


Илья Кремлев

и

БЫЛОЕ

Из воспоминаний.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1959

МОЛОДОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Сорок один год прошел со времени Великого Октября, почти сорокалетие залегло между грозами гражданской войны и нашими днями, и если нам, участникам революционных боев, пережитое кажется только вчерашним днем, то для молодого советского человека все это уже далекое прошлое, овеянное неповторимой романтикой революции. И вполне понятно, что многое представляется ему совсем не таким, каким оно было. Ему даже не верится, что в стране могла быть совершенно иная, нисколько не похожая на нашу жизнь; безмерные трудности первых лет революции забылись; осуществленный Коммунистической партией под руководством великого Ленина переворот, положивший начало новой эре на земле, кажется более легким, чем был в действительности.

Собрав в книгу отрывки из своих воспоминаний о пережитом и виденном в революции и на гражданской войне*, я не стремился дать широкую картину прошлого. Да и видел я слишком мало для того, чтобы подмеченные мною эпизоды могли воссоздать ход великих исторических событий. Выпуская в свет «Былое», я хочу на опыте пережитого показать моим молодым читателям, что основы новой, прекрасной жизни закладывались на крови и в дыму ожесточенных сражений.

Приход к власти большевиков вызвал к жизни своеобразный «единый фронт» — от саботажника-чиновника до вооруженного до зубов интервента. На помощь отечественной контрреволюции и пресловутому походу четырнадцати государств пришли испанка, сыпняк, тропическая малярия, голод. Многочисленные враги любыми способами старались задушить революцию.

Об этих трудностях я рассказываю в своей книге.

Молодой читатель должен помнить, что это было время, когда двадцатилетние пареньки нередко командовали дивизиями

* Очерк «Юнкера» был напечатан в журнале «Звезда» № 10 за 1957 год, очерк «Горная страна Талыш» — в газете «Бакинский рабочий» в 1927 году. остальные два очерка написаны специально для этой книги.

и управляли целыми губерниями и революция возлагала на них непомерную ответственность за судьбы сотен, а то и тысяч людей.

Нам в годы юности не хватало ни знаний, ни такта, ни выдержки.

Но партия терпеливо учила нас, спокойно и вдумчиво поправляла наши ошибки, наказывала и поощряла, как строгая, но любящая мать.

Были у всех нас и неоспоримые достоинства: мы были юношами, почти мальчиками, и любого из нас отличало совершенное бескорыстие; предрассудки капиталистического строя и его звериная психология не коснулись нас — нам нечем было дорожить в старом затхлом мире и незачем цепляться за прошлое. Все мы готовы были во имя революции пожертвовать всем, что имели. А имели мы в ту пору только собственную жизнь...

Выступая на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном сорокалетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, Н. С. Хрущев сказал:

«Не забывайте, товарищи, что молодость — особая пора в жизни человека — пора страстных увлечений и кипучей энергии. Каждый в юности мечтает о подвиге, стремится к романтике, ищет точку приложения своих сил. И тут важно помочь юношам и девушкам не заблудиться в этих поисках, не надевать ошибок, а направить их энергию на полезные дела, на благо народа».

Мои товарищи и сверстники до конца своих дней были и будут признательны нашей Коммунистической партии за то, что нашу молодую энергию, нашу мечту о подвиге, наши увлечения она направляла на борьбу за светлое будущее человечества.

И мне хочется думать, что мои непритязательные и невыдуманные рассказы о прошлом помогут моим молодым читателям понять, что никакие трудности, настоящие и кажущиеся, не должны останавливать их на полпути; что на смену романтике революционных боев пришла романтика решительного преобразования нашей страны, романтика перехода от социализма к коммунизму; что ничто так не тяготит, как бесцельно прожитая жизнь, и ничто не дает такого удовлетворения, как сознание того, что ты честно и самоотверженно служишь народу.

Илья Кремлев

Москва, декабрь 1958 года



ЮНКЕРА

I

В Петроград во Владимирское военное училище я попал из Нижнего Новгорода по очередной «разнарядке» в конце августа или в первых числах сентября семнадцатого года. В Нижнем Новгороде в особом, «студенческом», учебном батальоне скопилось свыше тысячи призванных, подобно мне, на военную службу студентов, и отсюда нас время от времени рассортировывали по военным училищам и школам прапорщиков военного времени.

Первые дни пребывания в училище ушли на «при-

гонку» обмундирования и на обучение отдаванию чести и уменью вести себя на улице так, чтобы не «позорить» прилаженных к однобортной юнкерской шинели нарядных погон, обшитых золотым галуном и украшенных бронзовым вензелем поверх широкого, из тонкого белого сукна сделанного просвета.

Несмотря на неимоверно усилившуюся разруху, юнкерам, как и в мирное время, выдавалось по два комплекта обмундирования — на каждый день и выходной — и по две пары сапог.

Окопные солдаты давно уже были разуты и не сменяли пропитанных потом и грязью рубах и шаровар, пошитых из кое-как окрашенной в защитный цвет грубой бумажной ткани, а оба комплекта выданной нам форменной одежды были сделаны из отличного сукна, выходные хромовые сапоги имели самый щегольской вид, да и нательное и постельное белье было тоже отменного качества и рассчитано на изнеженных барчуков.

Отдание чести было отменено еще знаменитым приказом № 1, опубликованным сразу же после свержения царя. Но все еще сохранившиеся в училище традиции требовали не только отдавания чести, но и того, чтобы это делалось с былым, свойственным владимирцам шиком.

На четвертый или пятый день нашего пребывания в юнкерском училище, когда пригнанное ротной швальней обмундирование уже не стесняло, а шинель не морщила на спине и отдавание чести и «печатанье» шага начало входить в привычку, были объявлены выборы в ротные и училищный комитеты.

Перед выборами, и в этом было то новое, что принесла в училище революция, каждого из нас спросили об его политических убеждениях.

— Большевик! — ответил я, хотя с партией еще организационно не был связан.

Это признание сразу определило отношение ко мне юнкеров. Подавляющее большинство из них либо состояло в партии социалистов-революционеров (эсеров), либо считало себя таковыми. Были среди юнкеров и меньшевики, и «народные социалисты», и монар-

хисты. Последние, однако, о своих политических убеждениях не распространялись.

Громившее в июльские дни редакцию «Правды» на Мойке и дворец Кшесинской, где тогда помещалась Военная организация большевиков, Владимирское училище считалось едва ли не самой «верной» Временному правительству воинской частью в гарнизоне. Достаточно было объявить о своей принадлежности к большевистской партии или даже о простом сочувствии к ней, чтобы вокруг такого «позорящего» училище юнкера образовалось «мертвое пространство». Ни в ротный, ни в училищный комитет я не попал. Отношение юнкеров ко мне, до этого времени вполне дружелюбное, резко изменилось, и они, не стесняясь, подчеркивали свою вражду. Зато объявились и немногие, но верные единомышленники.

Поначалу их было всего двое: Лебедев и Рогачевский, оба юнкера той же 8-й роты, в которую был зачислен и я.

В социал-демократическую рабочую партию большевиков Лебедев вступил еще в Нижнем Новгороде, в студенческом батальоне. Рогачевский большевиком не был, но, называя себя интернационалистом, разделял все программные и тактические установки большевистской партии.

Лебедев был моим ровесником; связывала меня с ним и альма-матер — Московский университет. Если не ошибаюсь, он был таким же второкурсником, как и я. Рогачевский был старше нас лет на пять. Окончив гимназию за два года до войны, он учился во Франции, в Нанси и в Тулузе, и должен был стать инженером-электротехником. В связи с войной он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета и окончил его по отделению чистой математики. Небольшого роста, горбоносый, малоразговорчивый и кажущийся флегматичным, он не привлекал к себе внимания юнкеров и не имел в училище ни врагов, ни друзей, если не считать нас с Лебедевым.

Лебедев был высок ростом, но неуклюж и нескладен. Лицо у него было длинное, какое-то бугристое, подслеповатые глаза смотрели хмуро, выступал он

всегда веско и решительно и, так как казался старше своих лет, вызывал у юнкерской молодежи некое боязливое почтение. Его, мечтательного поэта, мягчайшего человека и явного чудака, в училище, как и меня, наивно считали если и не большевистским лидером, то во всяком случае нарочно засланным эмиссаром загадочной и непонятной для юнкеров «крайне левой» партии.

Хотя училище было укомплектовано студентами Московского и Петербургского университетов, политическое невежество его питомцев не поддавалось описанию. Послеиюльская травля большевиков, сфабрикованное в Ставке и вытащенное Временным правительством на свет с помощью желтой и эсеро-меньшевистской прессы обвинение Ленина и ряда виднейших деятелей нашей партии в связи с немцами внесли окончательную сумятицу в мозги юнкеров. Вероятно, и нас с Лебедевым они считали тайными агентами германского генерального штаба...

Все это вызывало у юнкеров повышенный интерес к нам и, обусловив нелепую ненависть, вылилось в день юнкерского мятежа не в одну попытку расправиться с нами самосудом. Конечно, многими юнкерами руководила и классовая ненависть — в училище было немало помещичьих и купеческих сынков.

Поначалу мы не очень ясно представляли себе, что следует делать. На объединение, а затем и на дружбу нас толкнуло политическое единомыслие. Впрочем, мы тотчас же через Лебедева, зачистившего в Военную организацию большевиков, или «Военку», связались с Н. И. Подвойским. Еще немного, и задача, стоявшая перед нашей небольшой группой, вырисовалась вполне отчетливо.

Уже одно то, что на Владимирском военном училище лежала охрана Центральной телефонной станции, говорило о многом. Ежедневно на Морскую, где в мрачноватом четырехэтажном доме находилась телефонная станция, отправлялась дежурная рота, обеспечивая Временному правительству надежную связь с нужными ему учреждениями и с любыми частями гарнизона.

Из города Владимирское училище и даже отдельные его роты можно было вызвать по телефону без номера — телефонистки считали владимирцев своими охранителями и даже... ревновали их. Иной раз, если женский голос, вызывающий Владимирское училище, казался телефонистке легкомысленным, следовал стереотипный ответ: «занято», хотя нужный телефон и был свободен.

О том, что Владимирское училище пользуется особым доверием Временного правительства, наша группа очень быстро узнала, да и само привилегированное положение, в которое были поставлены юнкера, свидетельствовало об этом... Керенский баловал нас неспроста...

Задачей нашей небольшой группы было сделать все, чтобы расслоить юнкеров, приобрести среди них наибольшее количество сторонников, если и не Советов, то по крайней мере того самого «нейтралитета», о котором начали поговаривать все чаще и чаще.

Мы отлично понимали, что восемьсот дисциплинированных и обученных юнкеров, вооруженных пулеметами, винтовками и ручными гранатами, представляют в условиях непрерывно нарастающей деморализации войск Петроградского военного округа большую военную силу.

Поэтому-то мы жадно хватались за каждого юнкера, который проявлял хоть какую-нибудь симпатию к партии большевиков. Завязав связь с командой училища, состоявшей из поваров, каптенармусов, вестовых и другого обслуживавшего юнкеров персонала и насчитывавшей вместе с инструкторами-пулеметчиками около двухсот солдат, мы скоро подчинили ее своему влиянию.

Чтобы расслоить юнкеров и ослабить столь опасную монолитность эсеров-меньшевистского большинства, стоявшего на позиции безоговорочной поддержки Временного правительства, мы не без совета товарищей из «Военки» взяли на себя организацию в училище «Союза юнкеров-социалистов».

Такие училищные союзы существовали в некоторых школах прапорщиков — атмосфера в них была

куда левее и демократичнее, и социалистическое большинство в них включало обычно и интернационалистов и большевиков. Насколько я помню, в Смольном, где в то время работали самые различные организации, в том числе и «оборонческого» толка, существовало некое подобие общегарнизонного объединения таких юнкерских союзов.

Взяв на себя организацию союза социалистов училища, мы оповестили об этом юнкеров. То обстоятельство, что инициатива была проявлена нашей группой, заставило эсеров-меньшевистское большинство юнкеров объявить и этому нашему начинанию бойкот.

На организационное собрание пришло десятка полтора юнкеров, в большинстве своем те, кто еще раньше завязал связь с нашей группой. Объявив собрание правомочным, мы избрали президиум союза. Председателем был выбран Рогачевский — формально он не был большевиком, и это было нам на руку.

II

Ненависть к юнкерам нарастала по мере того, как приближался Октябрь. Пропасть между юнкерами и Петроградским гарнизоном все время расширялась, и Керенский делал все для того, чтобы подчеркнуть свое особое расположение военному училищу и тем самым еще больше отдалить юнкеров от солдатских масс.

Как и раньше, нам обеспечивалось превосходное питание, хотя в городе с каждым днем становилось все голоднее; по-прежнему на телефонную станцию шагала наряженная в караул рота. Не однажды в карауле на Морской побывал и я. И каждый раз, находясь в караульном помещении или стоя на посту, невольно возвращался к тревожной мысли о том, как трудно будет штурмовать телефонную станцию, если в этом возникнет необходимость.

Проход в узкие и глубокие ворота, сделанные под фронтальным корпусом станции, прикрывал приданный юнкерам броневики. Большая часть постов находилась в верхних этажах здания; если бы штурмую-

щим телефонную станцию как-нибудь и удалось проникнуть в напоминающий огромный колодец, со всех четырех сторон закрытый двор, то юнкера забросали бы их сверху ручными гранатами.

14 сентября в Александринском театре открылось Демократическое совещание*. Партия большевиков, как известно, приняла в нем участие, но когда был создан пресловутый Предпарламент**, Ленин настоял на его бойкоте.

Охрана Александринского театра во время совещания была возложена на наше училище, и в этом юнкера видели еще одно доказательство того доверия, которое питал к ним Керенский. Наряду с другими ротами была послана в Александринку и наша 8-я.

Перед отправлением роты в наряд нас предупредили, что на совещании может появиться находящийся неизвестно где Ленин. Его надлежало немедленно задержать, и, разводя юнкеров по постам, караульный начальник не уставал повторять о необходимости повышенной бдительности. Те из юнкеров, кого поставили у входов в театр, с особой тщательностью проверяли пропуска и документы делегатов, ротный командир умышленно вертелся около стоявших на постах и настойчиво следил за каждым.

— Какое дурачье, — шепнул мне Лебедев, — они рассчитывают, что Ленин даст заманить себя в эту мышеловку!

После улицы театр показался нестерпимо душным; шинель была застегнута на все пуговицы, тяжелые подсумки с боевыми патронами оттягивали поясной ремень, мешала винтовка.

Я стоял на посту в коридоре верхнего яруса и сквозь открытую дверь в ложу наблюдал за той шумной перебранкой, которая шла внизу в партере.

* Демократическое совещание было созвано Временным правительством из представителей социалистических партий, соглашательских советов, профсоюзов, земств, торгово-промышленных кругов и воинских частей.

** Временный совет республики, избранный Демократическим совещанием.

Кажется, трибуна была устроена не на сцене, а где-то посередине партера. Возможно, впрочем, что за давностью лет память мне изменила.

— Га-спада, — надрывался с председательского места неприятный горбун. — Га-спада, призываю к порядку, — с сильным кавказским акцентом выкрикивал он.

Это был известный меньшевик Чхеидзе, член Государственной думы, — я знал его по многочисленным фотографиям, печатавшимся в иллюстрированных еженедельниках.

Шум усилился, снизу доносились яростные крики: — Долой! Вон! Довольно!

И тотчас же словно в ответ на эти крики прогрохотали гулкие аплодисменты.

Я вслушался. Выступал кто-то из фронтовых большевиков, кто именно, я не запомнил. Ничего примечательного во внешности оратора, не то рядового солдата, не то вольноопределяющегося, не было. Ничем не запоминались ни манера говорить, ни хрипловатый от постоянных выступлений на митингах голос, ни грубоватые жесты. И говорил оратор, собственно, о том, чем полны были импровизированные собрания и митинги, возникавшие в ту горячую пору на любом углу и перекрестке взбудораженных городов бессонной России, — о мире, о нелепости дальнейшего ведения войны, о земле, по которой так истосковался русский мужик, о фабриках и заводах, до управления которыми уже дорос русский рабочий...

Да я особенно и не вслушивался в слова оратора, больше следил за тем своеобразным поединком, который он вел с переполненным партером. Этот неказистый фронтовик брал не красноречием избранного в парламент модного адвоката, не обилием заученных цитат, не остроумием. На стороне его была только одна сила — большевистская правда, уже сделавшаяся правдой всенародной. И потому-то рядовое выступление это на Демократическом совещании сопровождалось то свистом и возмущенными возгласами, то взрывом аплодисментов и криками одобрения.

— Молчите, демагоги! — в ответ на вспыхнувшие хлопки выкрикивал человек с серебряной профессорской бородкой, и судорожная гримаса кривила его младенчески розовое лицо.

— Тише, бонапартисты! — тотчас же раздражались толпившиеся у трибуны люди в куцых пиджаках поверх ситцевых косовороток и вылинявших фронтowych гимнастерках. — Молчите, корниловцы!

Рядом со мной оказался мой отделенный командир — юнкер Быков. Он был из солдат, дослужившихся на фронте до галунов подпрапорщика. Грубый, малограмотный, он не скрывал своих монархических убеждений. Несмотря на длительное пребывание в казармах, деревенский кулак крепко сидел в нем, и он органически ненавидел все то, что принесла с собой революция.

Мы спали с ним в одной комнате, наши койки стояли рядом, Быков враждебно относился ко мне, как большевику, и оттого, что в условиях начавшегося в училище развала был бессилен прижать меня, готов был от вражды перейти к открытой ненависти.

Тем непонятнее было явное одобрение, с которым он отнесся к выступлению.

На грубом, почти квадратном лице отделенного было написано напряженное внимание. Он жадно ловил каждое слово заинтересовавшего его оратора, бросал злобные взгляды на шикающих и протестующих земцев и профессоров и яростно хлопал в ладоши, когда внизу начинались аплодисменты.

— Чего это ты? — удивленно спросил я отделенного.

— А что? — повернул он ко мне свои белесые глазки.

— Ведь выступает большевик, — умышленно подзадорил я Быкова.

— Да здорово у него получается, — как бы оправдываясь, сказал Быков, и мне стало ясно, что отделенного не столько трогали слова большевистского оратора, смысл которых почти не доходил до него, сколько увлекала разбушевавшаяся игра страстей в зале. Я хотел еще что-то сказать, чтобы поиздеваться над

попавшим впросак отделенным, но он, вспомнив о том, что является старшим, сердито прикрикнул на меня: — Ты, того, не очень-то разговаривай на посту!

III

В начале октября в училище была созвана общеучилищная сходка. На собрание, кроме офицеров и юнкеров, были приглашены и солдаты училищной команды.

Наша группа предварительно провела собрание команды: полевание Петроградского гарнизона шло с такой стремительностью, что мы без труда заручились поддержкой солдат. На общеучилищную сходку мы пришли вместе.

На повестке дня стоял ряд вопросов: о регламенте юнкерских сходов, о внешней дисциплине и отдании чести, о бесплатном наравне с солдатами проезде в трамвае. Но предстоящее выступление большевиков, о котором ежедневно кричали газеты, было в центре внимания собравшихся.

Выступавшие ораторы с редким единодушием требовали всемерной поддержки Временного правительства и беспощадной расправы с большевиками — училищные эсеры и меньшевики неплохо подготовили сходку и заранее составили твердый список выступающих.

Лидером эсеровско-меньшевистского большинства оказался некий Бык, розовощекий, выхоленный юнкер старшего курса одной из рот, размещенных на Большой Гребецкой.

Битый час Бык говорил о немецком шпионаже, о темных элементах, сеющих смуту, об анархии и гибели революции — словом, обо всем том, чем были полны многочисленные «социалистические» газеты. Нельзя забывать, что в ту пору даже черносотенное «Новое время» и бульварная «Маленькая газета» величали себя органами то ли свободной, то ли независимой мысли.

— Товарищи, — под грохот оваций взывал Бык, — Владимирское военное училище стоит на страже инте-

ресов родины и революции. — В июльские дни Бык участвовал в разгроме «Правды». — В настоящий момент, — продолжал он, — при явной угрозе Петрограду со стороны Вильгельма всякое уличное выступление грозит гибелью республиканскому строю и завоеваниям революции.

Трудно было понять, о каких «завоеваниях революции» беспокоился этот маменькин сынок, всю жизнь рассчитывавший на приуготованный ему в наследство большой мануфактурный магазин.

Я попросил слова.

— Не давать! — закричали юнкера. — Не надо большевистских речей! Пусть проваливаются подобру-поздорову!

— Видите, товарищи юнкера не хотят вас слушать, — со сладенькой улыбочкой сказал председательствующий на сходке подполковник Сасько, — вы уж извините, но я... — Он беспомощно развел руками и изобразил на своем полном лице еще одну улыбочку.

Проводя собрание в команде, мы условились с солдатами, что в случае надобности все мы покинем собрание, хотя бы для того, чтобы юнкера почувствовали нашу организованность.

Решив, что нужный момент для задуманной демонстрации наступил, я во всю силу легких крикнул, обращаясь к солдатам:

— В таком случае мы в знак протеста покидаем сходку!

Я повернулся к дверям и зашагал к выходу. Солдаты, как один, последовали за мной. Поднялся шум, слышалась брань, раздались неясные угрозы, и все-таки было видно, что юнкера пришли в смятение. Еще немного, и они пошли на уступки.

— Дайте ему слово! Пусть говорит... — зашумели в рядах.

Мне дали слово. Я никогда еще не выступал на таких больших собраниях — шутка ли, меня должна была слушать добрая тысяча юнкеров и солдат. Я замялся и глянул на солдат. Они стояли в углу актового зала, сбившись в кучу, — не так уж хорошо чувство-

вали себя вчерашние «нижние чины» среди барчуков, за которых они еще и сегодня чистили винтовки и сапоги. Но обветренные деревенские лица доверчиво уставились на меня. Я встретился глазами с Леоновым — выбранный от команды в Петроградский совет солдат-большевик непривычно ласково, стараясь ободрить, глядел на меня.

Вероятно, речь моя была и сбивчивой и очень короткой. Я прежде всего опроверг отвратительную клевету — к немецкому шпионажу ни один большевик никогда не имел и не мог иметь отношения.

— Мы против Керенского, — говорил я, — ибо за его спиной стоит Корнилов. И, естественно, мы против вывода большевистских полков из столицы, ибо весь разговор о посылке частей Петроградского гарнизона на фронт затеян только для того, чтобы обезоружить питерских рабочих.

От имени нашей группы и настороженно молчавшей команды я внес заранее набросанную совместно с Лебедевым резолюцию с требованием безусловного подчинения Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов.

Был в резолюции и второй пункт, представлявшийся нашей небольшой группе особенно важным, — за каждым юнкером в том случае, если «выступление носило бы определенно политический характер», оставалась полная свобода действий.

Резолюция, как и следовало ожидать, провалилась. Правда, солдаты проголосовали за нее, и я приметил, как растерянно поглядел подполковник Сасько на дружно поднявшиеся кверху солдатские грубые руки. Но ни один офицер не поднял руки, как не сделал этого и почти никто из юнкеров.

Я с нарочитой медлительностью сошел с трибуны и прошел к солдатам. Юнкера проводили меня шумом и негодующими возгласами, но в толпе нескладных, немолодых уже крестьян, обутых в порыжелые солдатские сапоги, одетых в залатанные гимнастерки, я чувствовал себя совсем не одиноко и почти равнодушно слушал потом, как взбиравшиеся один за другим на трибуну юнкера без конца склоняли мою фа-

милию, присоединяя к ней не очень лестные эпитеты вроде бандита, немецкого наймита, анархиста.

На следующий день в училище со мной почти никто не разговаривал, многие демонстративно отворачивались и, проходя мимо, даже не обменивались обязательным отданием чести. Иные глядели при встрече пустыми глазами, иные отказывали даже в том, чтобы дать прикурить от горящей папиросы.

Но как ни неприятен был этот общий бойкот, выступление мое на общеучилищной сходке имело и свои положительные стороны. Несколько колеблющихся прежде юнкеров начали демонстративно подчеркивать свои добрые чувства к нам, наша маленькая группа не только сплотилась, но и обросла сочувствующими нам юнкерами, и, наконец, — и это самое главное — у нас возникла постоянная и надежная связь с командой, так пригодившаяся нам впоследствии.

Не помню точно, после этого ли выступления, а скорей всего значительно раньше, ко мне в роту явился незнакомый юнкер и, протянув руку, сказал:

— Давайте знакомиться. Моя фамилия — Яковлев. Я из первой роты.

— Вы большевик, товарищ, — продолжал он, пристально глядя и как бы изучая меня своими серовато-стальными пронизательными глазами, — я слышал о вас.

Убедившись, что в комнате никого, кроме нас, нет, он сказал, что является представителем Пека, то есть Петроградского комитета большевистской партии, и пришел в роту для того, чтобы установить постоянную связь с нашей группой.

Александр Александрович Яковлев был немногим старше меня. Русоволосый, с продолговатым нервным лицом, он сразу понравился мне.

Партия большевиков формально не была запрещена, но за В. И. Лениным по-прежнему охотились, и он находился в глубоком подполье; центральный орган партии «Правда» и другие большевистские газеты подвергались непрерывным репрессиям; работа руко-

водящих органов, в том числе и Пека, носила полулегальный характер.

Вероятно, по тем же конспиративным соображениям Яковлев как большевик ничем себя не проявлял ни на училищных сходках, ни у себя в роте — одной из самых реакционных в училище — и предпочел ограничиться доверительными встречами со мной. Через меня от имени Пека он и направлял работу нашей группы.

Вскоре Яковлев сообщил, что, по сведениям, полученным им в Пека, Временное правительство решило эвакуироваться из Петрограда и заодно вывести из покидаемой им столицы Владимирское военное училище. Передислоцироваться училище должно было на Кубань, в Екатеринодар. Решение это Керенский, уже тогда ориентировавшийся на казачьи полки Дона и Кубани, хранил в секрете, но кто-то сообщил о нем в Пека.

От имени Пека Яковлев предложил мне с помощью товарищей по группе и сочувствующих большевикам солдат из команды училища перевезти в Екатеринодар под видом училищного имущества оборудование типографии и развернуть в городе и в крае пропагандистскую и агитационную работу.

Я позабыл уже подробности неоднократных разговоров Яковлева со мной, но помню, как увлекали меня нарисованные им широкие планы. Кубань он хорошо знал и имел среди новороссийских и екатеринодарских рабочих, кубанских казаков и солдат расквартированных в крае воинских частей прочные связи.

Из скудных биографических сведений, которыми располагает Партийный архив Краснодарского крайкома КПСС, видно, что еще в мае 1917 года Яковлев был направлен в Новороссийск для партийной работы в Черноморской губернии. Вернувшись в Петроград, он в начале июля был призван на военную службу и зачислен во Владимирское военное училище.

Стремление его использовать предполагавшийся перевод училища в Екатеринодар было вполне закономерно, тем более, что еще в подполье в первые годы

войны Яковлеву пришлось немало поработать на Северном Кавказе.

Знакомство с Яковлевым многое дало мне, двадцатилетнему и совершенно зеленому в партийных делах молодому человеку.

Планам Яковлева, связанным с Владимирским военным училищем, не суждено было осуществиться. Эвакуация училища была отложена, Яковлев один уехал на Кубань. После его отъезда я почувствовал себя как бы осиротелым — связь нашей группы с «Военкой» и Н. И. Подвойским не была настолько тесной, чтобы заменить столь нужное при нашей партийной неопытности повседневное руководство, которое осуществлял спокойный и сдержанный Яковлев.

С отъездом Яковлева всякая связь с ним была потеряна. Но в том, что было сделано нашей группой полезного для партии в дни Октябрьского вооруженного восстания, бесспорно, сказались уроки этого опытного и зрелого большевика.

Вернувшись на Кубань, Яковлев вскоре был избран председателем Новороссийского совета солдатских и рабочих депутатов. По поручению партии он выезжал в Поти, Батум и Трапезунд, где вел пропаганду среди солдат возвращавшихся с Кавказского фронта частей.

Начавшаяся на Кубани гражданская война захватила его целиком. Погиб Яковлев 22 января 1918 года в бою у станции Энем. О героической смерти его я узнал много позже из «Правды». Пожелтевшая газетная вырезка свято хранится у меня как последняя память об этом замечательном солдате революции.

Рассказав о поражении большевистских отрядов под станцией Энем, «Правда» писала:

«После победы победители черносотенцы торжественно въезжали в Екатеринодар. У вокзала были выставлены на обозрение шесть орудий и пулеметы, якобы отнятые у побежденных, а на самом деле свои собственные, так как вся артиллерия большевиков отошла без урона.

Победителей встречала буржуазия. Офицеры громко рассказывали, как издевались над убитым в бою под Энемом главнокомандующим большевиков

юнкером Яковлевым и раненым военным комиссаром Серадзе. Труп Яковлева воткнули головой в грязь по плечи, и кверху торчали окоченевшие ноги.

Яковлев перед боем подошел к казакам и сказал: «Я — представитель советской власти, главнокомандующий Новороссийскими войсками юнкер Яковлев. Сдавайтесь без кровопролития».

Юнкера сразили его несколькими пулями.

Комиссар Серадзе был ранен в живот при отступлении и оставлен на станции Энем. Он невероятно мучился от раны и просил черкесов и юнкеров добить его.

Они послушались и добили его, валявшегося на земле полтора суток, ногами и прикладами. Когда привезли его в Екатеринодар, нельзя было смотреть на это почернелое лицо — такие муки застыли на нем. Грудная клетка, руки, ребра были переломаны.

Тело Яковлева было выдано большевикам только лишь под угрозой бомбардировки Екатеринодара и предания расстрелу 200 пленных юнкеров».

IV

Предстоящее выступление большевиков все сильнее занимало умы.

Временное правительство ждало его с трепетом и без надежд на сколько-нибудь благоприятный исход, хотя угроз по адресу большевиков в эти дни отпускалось более чем когда-либо.

18 октября (по старому стилю) в меньшевистской газете «Новая жизнь» появилось предательское письмо штрейкбрехеров революции Каменева и Зиновьева.

«Ввиду усиленного обсуждения вопроса о выступлении, — писал Каменев, — я и товарищ Зиновьев обратились к крупнейшим организациям нашей партии в Петрограде, Москве и Финляндии с письмом, в котором решительно высказывались против того, чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных восстаний в ближайшие сроки...»

Письмо это, о котором Ленин писал, что оно «в тысячу раз подлее и в миллион раз вреднее всех выступлений хотя бы Плеханова в непартийной печати в 1906—1907 годах, которые резко осуждала партия», выдало Временному правительству сохранявшийся в глубочайшем секрете план вооруженного восстания.

Теперь вооруженного выступления большевиков начали ждать уже ежедневно.

Рассчитывая предупредить выступление большевиков, Керенский надумал нанести по Смольному смертельный удар. Большевистскую печать решено было закрыть, лидеров партии арестовать, саму партию объявить вне закона.

Видную роль в предстоящей расправе с большевиками Временное правительство отводило Владимирскому военному училищу, и поэтому-то в последние перед Октябрьским штурмом дни юнкеров начали еще больше баловать и обхаживать. Утром к чаю, например, нам вместо одной белой булочки начали выдавать по две. В воскресенье 22 октября командование училища устроило нам приятный сюрприз — за обедом неожиданно появился духовой оркестр, и праздничный борщ с чудесной кашей, до отказа сдобренной свинными, хрустящими на зубах шкварками, мы уничтожали под звуки популярного вальса «На сопках Маньчжурии».

Тревога все ошутимее охватывала училище, и во вторник с утра, отпросившись у дежурного офицера, я отправился в «Военку».

Николая Ильича Подвойского на месте не оказалось. Кое-кто из находившихся в помещении товарищей с удивлением воззрился на мои белые с золотом погоны, и я поспешил объяснить, что являюсь представителем небольшой большевистской группы, давно уже возникшей в училище.

— Глядите, даже во Владимирском училище есть наши, — обрадованно сказал кто-то и пригласил находившихся в соседней комнате сотрудников «Военки» поглядеть на «чудо» — большевика из контрреволюционного Владимирского училища.

Пока меня разглядывали и я получал литературу — жиденькую пачку тоненьких брошюр Невского и Коллонтай, кто-то из стоявших рядом военных начал рассказывать о предпринятой Керенским, но сразу же провалившейся попытке закрыть «Рабочий путь». Под этим именем в предоктябрьские дни выходила преследуемая и потому вынужденная менять название боевая большевистская «Правда».

По словам рассказчика, налет юнкеров, начавших было ломать стереотипы и пытавшихся закрыть типографию, вызвал отпор со стороны дежурной роты Литовского полка. В результате юнкера еле унесли ноги, а газета вышла как ни в чем не бывало.

Бережно прижав к себе полученные брошюры, я зашагал в училище. По Литейному мосту навстречу мне, откуда-то с Выборгской стороны, шла полностью укомплектованная рота женского «батальона смерти». Ударницы шагали в полном боевом снаряжении, за ротой тянулись пулеметные двуколки и походные кухни.

— Куда это? — спросил я у прохожего.

— Известно куда, к Зимнему. Керенку защищать, — с вызовом поглядев на мои юнкерские погоны, сказал прохожий, судя по потертому пальтецу, рабочий или мелкий ремесленник. — Стало быть, надоело им шлендать по Невскому, решили в солдатское дело встрять...

О женском батальоне, укомплектованном бог весть кем, в том числе и гулящими девицами с Невского, рассказывалось много анекдотов, похожих на правду. Желтая «Маленькая газета» как-то поведала о форменном бунте, поднятом ударницами, из которых пытались сделать исторических героинь типа Жанны д'Арк.

Записывающимся в батальон было обещано, что они будут подстрижены «а ля казак», то есть хотя и лишатся кос и причесок, но сохранят значительную часть волос. Спустя некоторое время, когда вербовка закончилась, ударниц попытались остричь под машинку, и тут-то в батальоне поднялся бунт. В конце концов борющиеся стороны пошли на компромисс: нена-

вистная машинка была отменена, и небольшая челка на голове продолжала свидетельствовать о женском поле будущих защитников Зимнего дворца.

Женский «батальон смерти» был расквартирован в Левашове, и местные жители надолго запомнили дурную славу, которую ударницы завоевали за сравнительно короткий срок своего пребывания в этом пригороде. Проституция и пьянство процветали вовсю; как воинская часть ударницы ничем, кроме истерик, себя на Дворцовой площади не прославили.

С ударницами я соприкоснулся и в первый день Октябрьской революции, когда по пути из Смольного заехал в Гренадерский полк и обнаружил в нем перехваченных по пути из Левашова и обезоруженных ударниц, и в памятный день юнкерского мятежа, когда вместе с увечными воинами в училище пришел и взвод прятавшихся во дворце Кшесинской ударниц. Никакого хотя бы самого незначительного уважения к ним (а уважать, как известно, можно и врагов) от этих встреч не осталось; и до сих пор мне кажутся издевкой над элементарной правдой строчки из стихотворения об обороне Зимнего, написанного когда-то одним из наших писателей.

Только девушки в узких мундирах
Умереть хотели за нее, за Россию! —

истерично восклицал он, совершенно забыв о том, что ни одна из ударниц ни ранена, ни убита при штурме Зимнего не была, а женская рота, выступившая на Дворцовую площадь, сдалась еще задолго до взятия дворца.

Вернувшись в училище, я аккуратно уложил полученную мною литературу в шкафчик, стоявший у кровати. Нагрянувшие события заставили меня не думать о полученных брошюрах, а во время юнкерского мятежа все мои вещи бесследно исчезли.

Отыскав Лебедева, я рассказал ему о том, что слышал в «Военке». В свою очередь, Василий поделился со мной новостью: на Васильевском острове по приказу Керенского разводят мосты. То, чего все ждали, началось.

С обеда запретили увольнения в город. В роты выдали боевые патроны и ручные гранаты, из оружейного склада приволокли пулеметы. И сразу же обострилось отношение юнкеров к нам.

Занятия отменили. Снедаемые любопытством юнкера собирались в курилке и в пустых классах; строились всевозможные догадки о том, что происходит в городе, передавались и подхватывались случайные, а порой и заведомо вздорные слухи.

7-я и 8-я роты училища помещались отдельно от него в наспех приспособленном здании бывшего ресторана, — кажется, «Яра», — находившегося на углу Большой Гребецкой и Большого проспекта. В здании сохранились еще вычурные лепные потолки, аляповатые зеркала, вделанные в стены; и совсем непривычно рядом с ними выглядели тщательно смазанные, готовые в любой момент открыть убийственный огонь тупорылые «максимы».

Вечером среди юнкеров начались разговоры о возможности выступления училища к Зимнему.

Портупей-юнкер Голосовкер, один из наиболее ярых приверженцев Временного правительства, ушел на экстренное заседание училищного комитета, членом которого являлся. Юнкера ждали его звонка, он обещал сообщить с Большой Гребецкой по телефону, как только будет получен приказ о предполагаемом выступлении училища.

Обещанный звонок, наконец, раздался.

— Дневальный восьмой роты слушает. Кто у телефона? Портупей-юнкер Голосовкер? Так, получен приказ. Что? Выступаем к Зимнему? — умышленно повторял дневальный, чтобы тем самым окружившие его юнкера могли сразу же понять, о чем говорит портупей-юнкер.

Еще немного, и все в роте знали, что приказ о выступлении Владимирского военного училища на Дворцовую площадь отдан премьер-министром лично. Под приказом стояла подпись: «главковерх Керенский», на приказе гриф: «боевой».

«Итак, училище выступает, — растерянно подумал я. — Но как в таком случае поступить тем немногим юнкерам, кто не хочет сражаться против Советов? Отказаться? Но проклятый приказ не случайно подписан Керенским как «главковерхом» и снабжен грифом. За неисполнение боевого приказа верховного главнокомандующего положена недавно введенная Временным правительством смертная казнь. Как за измену...»

«Пусть судят полевым судом, пусть приговаривают к расстрелу, но я не пойду», — после небольших колебаний твердо решил я и от того, что решение было принято, почувствовал себя легче.

Юнкера нервничали и ждали команды. Тянулись часы, училище так и не выступило, с заседания училищного комитета вернулся, наконец, утомленный портупей-юнкер.

— Послали в штаб округа. К генералу Багратуни, — устало сказал он, бросаясь на койку. — В сущности, это ни к чему, но надо же проверить...

Голосовкер не договаривал. Секрет был в другом. Подполковник Сасько и штабс-капитан Сергиевский, входившие в комитет от командного состава училища, не скрывали своих монархических убеждений, но, как и многие офицеры этого типа, не обнаруживали ни малейшего желания драться за Временное правительство. Любой из таких офицеров рассуждал примерно так: «Большевики собираются свергать Керенского? Ну что ж, пусть ломают себе шею! Керенский хочет раздавить большевиков? Пускай надрывается. Кто бы из них ни победил, все равно начнется анархия и любой решительный генерал сумеет, наконец, захватить власть. А там, даст бог, можно будет подумать и о восстановлении столь любезной сердцу царской власти».

Поэтому и Сасько и Сергиевский всячески давили на эсерствующих и меньшевистствующих комитетчиков-юнкеров и под любым предлогом оттягивали исполнение приказа.

Час спустя Голосовкер снова ушел на Большую

Гребецкую; несмотря на ночное время, училищный комитет бодрствовал и продолжал заседать.

В спальнях потушили свет, юнкера, не раздеваясь, прилегли на неразобранных койках. Медлительная осенняя ночь неясным сумраком окружила столик дежурного по роте, в ротах воцарилась тревожная тишина.

Я не ложился, было не до сна, и волей-неволей торчал около дежурного.

— Посидите за меня, вам все равно не спится, — неожиданно предложил дежурный и непритворно зевнул.

— Извольте, — поспешно согласился я.

Дежурный передал мне кожаный чехол со штыком. Я прицепил его к поясу и занял освободившееся место за столиком. Рядом стояла телефонная будка, и это-то и заставило меня так быстро согласиться на просьбу дежурного юнкера.

Передав мне штык, дежурный ушел. Я остался один, и, хотя от принятого решения не выступать вместе с ротой стало как будто легче, тяжелое раздумье снова и снова возвращалось ко мне — не так просто, находясь в крепко спаянной дисциплиной воинской части, отказаться от выполнения боевого приказа.

«А что, если прикончат тут же на месте, не ожидая полевого суда?» — приходила невольная мысль.

Необычайный, непонятно резкий и продолжительный телефонный звонок прервал мои размышления.

— Владимирское? — услышал я взволнованный женский голос. — Владимирское?.. Они идут... Они уже заняли двор...

«Кто, откуда? — недоумевал я. — Неужели с телефонной станции? Сегодня в караул пошла первая рота, самая надежная в училище. У юнкеров — ручные гранаты, внизу броневики, — соображал я. — Нет, тут что-то не то...»

— Владимирское, — надрывались в трубке, — большевики поднимаются по лестнице. Они уже...

Послышался стук. Вероятно, кто-то упал. А может быть, это был звук поспешно брошенной трубки. Я попробовал вызвать телефонную станцию, «теле-

фонная барышня» не отвечала, в трубке стоял необычный шум. Донесся чей-то крик, кто-то взывал о помощи, и вдруг все оборвалось.

Понимая, что мистифицировать меня в столь позднее время никто не стал бы, да и не мог, я сделал новую попытку дозвониться до телефонной станции. Она увенчалась успехом, но голос у телефонистки был необычный: казалось, она всхлипывает и говорит сквозь слезы.

— Что на станции? — спросил я.

— Он-на... — дрожащим голосом ответила телефонистка, — он-на зан-ня-та б-большевика-ми...

— Вам какой номер? — спросил меня уже совсем другой голос.

Я назвал номер телефона главного здания и, дождавшись соединения, вызвал с заседания комитета юнкера Голосовкера.

— Крайне важно, — предупредил я дежурного, ответившего с Большой Гребецкой.

— В чем дело? — услышал я, наконец, знакомый голос.

— Телефонная станция только что занята большевиками, — с явным злорадством в голосе сказал я.

— Не может быть! — ахнул портупей-юнкер.

— Позвоните на станцию и проверьте, — ехидно посоветовал я.

Было еще темно, когда 1-я рота вернулась с Морской. В главном здании мало кто спал, юнкера высыпали навстречу «опозорившей» училище роте.

Сконфуженная и угрюмая рота вошла в училище под злобными и насмешливыми взглядами.

— Предатели! Сволочи!.. — неслоь вслед.

Ротного командира с юнкерами не было. Еще на телефонной станции он сказался больным и в училище не явился. Роту привел член училищного комитета юнкер Гюнтер. Он, собственно, и сдал телефонную станцию.

Гюнтер не был большевиком. Сын немецкого колониста, рослый, очень добросовестный немец, он один из немногих юнкеров почему-то голосовал за резолю-

цию, предложенную мною на общеучилищной сходке.

Ночью, когда к телефонной станции подошла рота Кексгольмского полка, давно перешедшего на сторону большевиков, командовавший юнкерами капитан, струсив, передал командование Гюнтеру, как члену училищного комитета. Гюнтер, подумав, приказал впустить во двор кексгольмцев и без выстрела, словно шла обычная смена караула, сдал телефонную станцию.

Утром юнкера решили арестовать меня и Лебедева. Кто-то из доброжелателей передал нам об этом и рассказал, что агрессивные намерения юнкеров вызваны недавними событиями в соседнем Павловском пехотном училище. Там команда организовала Военно-революционный комитет и, предъявив командованию училища ультиматум, потребовала, чтобы юнкера остались нейтральными.

Наша рота и в том же здании размещенная 7-я, помитинговав, постановили пойти «павлонам», как называли себя юнкера Павловского военного училища, на выручку. Подбадривая себя, юнкера и вознамерились арестовать оказавшихся под рукой большевиков.

Возможный арест меньше пугал нас, нежели вероятное «самоопределение» 7-й и 8-й рот.

Большевистский гарнизон через созданный при Петроградском совете Военно-революционный комитет требовал от юнкеров столичных военных училищ и школ прапорщиков только одного — чтоб они оставались нейтральными и не вмешивались в уже развертывающуюся вооруженную борьбу с Временным правительством.

Нерешительность училищного комитета и хитроумные уловки подполковника Сасько, оттягивавшего выступление юнкеров на Дворцовую площадь, делали свое дело, — время шло, а готовые к выступлению роты оставались в стенах училища.

Посоветовавшись, мы решили использовать формально находящийся в наших руках «Союз юнкеров-социалистов» Владимирского училища для того, что-

бы через такие же «социалистические» коллективы других военных училищ договориться о нейтралитете юнкеров.

Выступая от имени «Союза юнкеров-социалистов», мы обзвонили по телефону большую часть находящихся в городе военных училищ и пригласили их представителей на чрезвычайное совещание.

В указанное время, то ли в девять, то ли в десять часов утра, к нам в роту явились два солдата из Павловского училища и несколько юнкеров-павловцев и михайловцев. В числе юнкеров Михайловского артиллерийского училища был довольно неприятный рыжий детина, очень щеголеватый и высокомерный. Фамилия его была Каннегиссер. Среди явившихся ни одного большевика не было, а не понравившийся мне Каннегиссер меньше чем через год оказался террористом и убийцей председателя Петроградской Чрезвычайной Комиссии М. С. Урицкого, одного из руководителей Октябрьского вооруженного восстания.

Павловцы — и юнкера и солдаты — стояли за нейтралитет, Каннегиссер запальчиво настаивал на немедленном выступлении к Зимнему. Рассчитывая, что представители союза социалистов таких училищ, как Константиновское артиллерийское и Николаевское инженерное, еще подойдут, мы умышленно затягивали прения.

Неожиданно наше собрание прервалось. Ворвавшись в комнату с винтовками наперевес, юнкера разогнали собрание, а всех присутствующих на нем арестовали.

Возмущенный Каннегиссер заявил, что он, как эсер, не понимает, почему его задержали. Пошумев и поспорив, юнкера освободили его, остальных оставили под усиленным караулом.

Прошел, вероятно, час, пока под давлением солдат Павловского училища, узнавших о нашем аресте и пригрозивших силой освободить нас, караул не был снят.

За то время, что мы находились под арестом, юнкера 7-й и 8-й рот приняли решение отколоться от остальных рот и больше не подчиняться училищному

комитету. Командующим сведенными ротами был выбран капитан Некрасов, командир нашей 8-й роты. О Некрасове было известно, что он лютой ненавистью ненавидит большевиков. Избрание его командующим двумя сотнями оголтелых, распаленных всякими слухами юнкеров имело только один смысл — с минуты на минуту надо было ждать, что роты построятся и пойдут на улицу, чтобы «освободить» юнкеров соседнего Павловского училища и вместе с ними проследовать на Дворцовую площадь.

Пользуясь возникшей сумятицей, мы, Лебедев, Рогачевский и я, порознь обманули стоявших в наружном карауле юнкеров и, выбравшись из училища, из которого все еще никого не выпускали, поехали в Смольный.

VI

Мы приехали в Смольный для того, чтобы поставить Военно-революционный комитет в известность о готовящемся выступлении и просить о назначении комиссара в училище и направлении туда отряда, который разоружил бы юнкеров раньше, нежели раздается первый выстрел.

К Механошину, члену Военно-революционного комитета, который смог нас сразу принять, пошел Рогачевский. Мы остались ждать в коридоре, считая, что неудобно по одному и тому же вопросу докладывать троим.

Смольный сегодня казался каким-то особенным — непривычно грозным и настороженным. В институтском парке дымились походные кухни, у высокого портала серели броневики, и рядом с ними стояли снятые с передков трехдюймовки.

И в парке, и около дома, и в самом здании бывшего института благородных девиц было полно вооруженных рабочих, лихих матросов, перетянутых пулеметными лентами, и солдат того неповторимого фронтового типа, который создавали долгие месяцы окопного сидения.

В коридоре, где мы ждали Рогачевского, было теснее тесного от самого разнообразного, одинаково

возбужденного и шумного народа. Из того, что говорилось вокруг, можно было понять, что окружение Зимнего дворца уже началось и вот-вот начнутся решающие схватки с его защитниками.

— Вы знаете, товарищи, что нам предлагает Механошин? — сказал Рогачевский, стремительно подходя к нам. — Он спрашивает, не согласимся ли мы поехать в училище комиссарами?

Флегматичного математика трудно было узнать — неожиданное предложение Механошина настолько взбудоражило его, что даже ровный и спокойный обычно голос приобрел непривычные бурливые интонации.

— Дело в том, что никого подходящего, чтобы послать во Владимирское комиссаром, в распоряжении Военно-революционного комитета в настоящий момент нет, — уже спокойно продолжал Рогачевский, — нет и свободного отряда. Я сказал Механошину, что я не один, что вы ждете меня, и он предлагает всем троим выдать комиссарские мандаты. Давайте подумаем, товарищи, и решим, — продолжал Рогачевский и перевел взгляд с невозмутимого, как всегда, Лебедева на меня.

— Я согласен, — вырвалось у меня как-то непроизвольно, и лишь после этого с удивительной отчетливостью в сознании возникла мысль о том, какое навсегда и круто переворачивающее всю мою жизнь решение я только что принял.

Я отчетливо представил себе, с каким риском связано предложенное Механошиным назначение. В училище нас ненавидели, оружия у нас не было. Явившись на Большую Гребецкую, мы окажемся во власти тех, кто еще час назад вынужденно освободил нас из-под ареста. А нужно было не только вернуться в училище, но и подчинить его себе. Кто мог поручиться, что юнкера не расправятся с нами в ответ на ультиматум, который мы, естественно, должны будем вручить им от имени Военно-революционного комитета?..

Все эти мысли с невероятной быстротой сменяли друг друга, и вместе с тем я чувствовал, что ни за что

не смогу перерешить. На смену известной оторопи приходило какое-то особое, ни с чем не сравнимое состояние. Вероятно, такое бывает только в самые решающие и трудные в жизни минуты, когда ты, сдерживая невольное головокружение, вдруг как бы летишь с невиданной быстротой в новый, маячащий где-то вдали прекрасный, но пугающий мир.

Я глянул на Лебедева.

— Ну что ж, я тоже согласен, — сказал он с обычной своей флегмой.

— Идем к Механошину, — заторопил нас Рогачевский, — он ждет нашего ответа.

Мы прошли к Механошину. Оторвавшись от обступивших его солдат и матросов, он предложил сидевшей за соседним столом девушке выписать нам мандаты и торопливо объяснил, что, вернувшись в училище, мы можем рассчитывать на помощь расположенного не так уж далеко Гренадерского полка и совсем рядом с Большой Гребецкой Огнево-химического батальона.

— Обязательно побывайте по пути в училище в Гренадерском, — сказал Механошин. — Комиссаром в нем Ильин, надежный и серьезный товарищ. А в случае чего мы вам подошлем броневик, — обещал он и подписал заготовленные девушкой мандаты.

Я протянул было руку за мандатом, но выписавшая его девушка сделала нечто такое, что показалось мне самым удивительным в этот необыкновенный день. Наши мандаты были тщательно записаны в толстенную, большого формата книгу, в которой любой мало-мальски знакомый с правилами дореволюционного делопроизводства глаз сразу признал бы «журнал исходящих бумаг». И только проставив на мандатах соответствующие и никак не летучие, а настоящие номера, девушка вручила их нам.

Вооруженное восстание только началось, окружение Зимнего дворца еще не было завершено, во что выльются развертывающиеся боевые операции, никто не знал, и все-таки благодаря чудесной организован-

ности нашей удивительной партии не была забыта даже такая мелочь, как регистрация документов.

Фамилия скромной девушки, сидевшей над журналом «входящих и исходящих бумаг», давно забыта. Но добрая половина этих исписанных до отказа пухлых конторских книг и поныне хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, и не один историк, получив доступ к этим драгоценным документам прошлого, с горячей признательностью вспоминает о той, кто в сутолоке готовившегося к решительному и последнему бою Смольного не забыл о том, как важно будет грядущим поколениям знать все, что связано с великими историческими днями.

Впрочем, первый из этих дней, если наблюдать его из окон переполненного трамвая, везущего нас, вновь назначенных комиссаров, на Петроградскую сторону, выглядел на редкость буднично.

Не знающая себе равной организованность нашей партии, отважившейся на штурм веками складывавшегося капиталистического мира, проявилась и в том, что величайшая в мире революция осуществлялась без всяких внешних эффектов, с той строгой и суровой деловитостью, которая всегда была присуща ленинскому стилю борьбы и работы.

Огромный город, за исключением прилегающих непосредственно к Зимнему дворцу улиц, жил своей обычной, ничем не примечательной внешне жизнью. Даже на Невском в непосредственной близости от Дворцовой площади некоторое время ходили трамваи, и лишь в середине дня их пустили обходным путем. Большая часть столичных кинематографов — «иллюзионов» и «синематографов», как их тогда называли, — была открыта; многие петербургские обыватели лишь на завтра узнали о том, что произошла революция и власть перешла к Советам.

В Гренадерском полку Ильина не оказалось, он куда-то уехал. В полковом комитете, куда мы зашли, нам объяснили, что рассчитывать на помощь Гренадерского полка в задуманном нами разоружении

Владимирского училища не следует, ибо в казармах в лучшем случае может набраться человек четыреста, да и то нестроевых. Остальные солдаты находятся либо в наряде, либо разошлись.

«Будь что будет!» — решили мы и отправились на Большую Гребецкую.

В подъезде главного здания стоял усиленный караул. На нас были юнкерские погоны, и часовые беспрепятственно нас пропустили.

Еще из Смольного, едва получив мандаты, мы решили предупредить училищный комитет о том, что в училище назначены комиссары. Кто эти комиссары, мы решили не говорить: меня и Лебедева юнкера уже ненавидели, и их не следовало раньше времени излишне озлоблять. Сообщить же о назначении комиссаров следовало хотя бы для того, чтобы выгадать время. Узнав о назначении комиссаров, и без того колеблющийся училищный комитет должен был подождать их появления и до этого ничего не предпринимать.

Перед уходом из училища я сообщил училищному комитету, что еду в Смольный «для информации». Тем естественнее прозвучал звонок из Смольного с сообщением о назначении комиссаров.

Перед тем как войти в училище, мы посоветовались и решили, что переговоры с училищным комитетом будет вести Рогачевский. Юнкера его почти не знают и потому встретят его назначение без той злобы, которая ожидала меня и Лебедева. Заодно мы заранее распределили обязанности, решив, что, поскольку Рогачевский будет нас представлять, мы с Лебедевым перейдем на положение его помощников: я возьму на себя обязанности коменданта большого здания, Василий — 7-ю и 8-ю роту, помещающиеся на Большом проспекте.

Войдя в училище, мы поднялись на второй этаж и направились в комнату, в которой все еще заседал училищный комитет. И вот тут-то выяснилось, что флегматичный и замкнутый Рогачевский обладает решимостью, которой мы с Лебедевым в нем и не подозревали.

Пропущенный нами вперед, он решительно вошел в комнату и, не здороваясь ни с кем из членов комитета, сурово бросил:

— Назначен Военно-революционным комитетом. Предлагаю вам сдать. Даю вам десять минут на размышление.

Не давая комитетчикам опомниться, Рогачевский повернулся на каблуках и вышел в широкий училищный коридор. Мы последовали за ним.

Даже теперь мне непонятно, каким образом юнкера с такой быстротой узнали о нашем назначении комиссарами. Около нас тотчас же образовалась яростная толпа.

— Бей их! Комиссары, сволочи! — раздались злобные выкрики, перемежающиеся с непечатной бранью.

Толпа разъяренных юнкеров прижала нас к стене. Машинально мы сунули руки в карманы наших юнкерских шаровар. Много позже какой-то бывший юнкер рассказывал, будто заседавшие на нас юнкера были уверены, что в карманах у нас ручные гранаты. Лимонообразные французские гранаты, или «лимонки», как их называли в армейском быту, были еще накануне выданы в роты.

Не знаю, подействовал ли страх (а вдруг кто-нибудь из нас швырнет ручную гранату и она уложит многих из тех, кто почти вплотную приблизился к нам), или самосуд над своими же однокашниками еще казался психологически невозможным, но юнкера ограничились только угрозами и бранью. К тому же неведомо откуда появившийся второй помощник начальника училища подполковник Темберг встал между нами и неистовствовавшими юнкерами и поспешно увел нас троих в комнату дежурного офицера.

Ни один юнкер не решался войти в эту комнату без вызова, и такова была сила традиции, что, пока мы находились в комнате дежурного офицера, мимо открытых дверей ее по коридору пробегали десятки юнкеров, и, хотя почти все они останавливались, чтобы обругать нас или выкрикнуть какую-

нибудь угрозу, никто из них так и не осмелился переступить запретный порог.

Трудно сказать, сколько времени пришлось нам провести в комнате дежурного офицера. Назначенный нами десятиминутный срок давно прошел, ранние осенние сумерки спустились на Большую Гребецкую, за окнами почернело, а училищный комитет все еще не сообщал своего решения.

Неожиданно где-то слева от училища прогремело орудие. Я успел побывать на фронте и слышал грохот немецкой тяжелой артиллерии, обстреливавшей Галац. Орудийный гул, донесшийся в комнату, мог быть вызван либо крепостной, либо судовой артиллерией. О том, что орудия «Авроры» наведены на Зимний, мы знали. Мелькнула догадка, что бьют с крейсера. О том, что выстрел холостой, мы узнали много позже.

Училищный комитет по-прежнему молчал. Было ясно, что раз дошло до артиллерийской стрельбы, то из училища нас не выпустят.

«Вероятно, оставят заложниками», — решил я.

Дверь, давно уже прикрытая кем-то из нас, неожиданно открылась, и в комнату вошел подполковник Сасько. В руке у него была какая-то бумажка, оказавшаяся только что принятой комитетом резолюцией.

— «Признавая в принципе власть Военно-революционного комитета, — начал читать подполковник, — училищный комитет Владимирского военного училища постановил вас как комиссаров не признавать и просить Смольный о замене...»

Половинчатая, как и все то, что делал комитет в эти дни, резолюция была понятна. Надо было выждать, чья возьмет — Керенского или большевиков.

Если бы на нашем месте были любые посланцы Военно-революционного комитета, училищный комитет выкинул бы аналогичное коленце и уж во всяком случае увернулся бы от признания присланного комиссара или комиссаров.

Сам Сасько, оглашая резолюцию, чувствовал себя не очень спокойно: на лбу его выступили красные

пятна, щеки прыгали, глаза неприятно бегали по сторонам.

— Ну что ж! — неопределенно сказал я. — В таком случае прикажите, господин полковник, чтобы нас выпустили из училища.

Сасько сделал вид, что не слышит, и ничего не ответил.

Я ждал уже, что он объявит нам о нашем аресте, как вдруг в комнату вбежал насмерть перепуганный солдат из команды, кто-то из нестроевщины, работавший то ли на кухне, то ли в каптерке.

— Гр-рен-адер-рский п-полк, — заикаясь от испуга, забормотал солдат, — с п-пулем-метами ок-ок-ружает училище. Если юнк-кера не сдадут оружия, б-будет открыт огонь, — выдавил он, наконец, из себя, вытянувшись перед Сасько.

Нам, незадолго до этого побывавшим в Гренадерском полку, было ясно, что ни один гренадер и на выстрел не подходил к училищу. Но овладевшая солдатом паника была как нельзя кстати.

— Что же делать?.. — растерянно забормотал Сасько. — Что же делать?.. — повторил он и с надеждой уставился на нас.

Лихорадочно заработавшая мысль подсказала мне единственно правильный выход: еще вчера с обеда были запрещены увольнения в город; что происходит в столице, никто из юнкеров толком не знал; выстрел с «Авроры» говорил о том, что началось вооруженное восстание; у многих юнкеров были в городе родные и знакомые; наконец в двадцать с небольшим лет трудно противопоставить что-либо снедающему тебя любопытству.

— Прикажите разрешить увольнения в город, — предложил я.

— Юнкера не пойдут, — возразил подполковник.

Меня как бы осенило, и, поняв, что никакие уговоры не помогут, я с мужеством отчаяния сказал:

— Я вам приказываю!

Тон у меня был резкий и уверенный, — шут его знает, почему я не выдал своего внутреннего состояния! Но произошло чудо: подполковник Сасько не-

ожиданно вытянулся и, щелкнув каблуками, привычным тоном сказал:

— Слушаюсь, господин комиссар!

Он тут же подозвал оказавшегося в комнате дежурного офицера и приказал ему передать в роты, что запрещенные накануне увольнения в город снова разрешены. Через несколько минут в коридорах слышался топот нетерпеливых ног — это юнкера, насидевшись взаперти, торопились на улицу. Еще немного, и в училище никого, кроме дежурных, дневальных и часовых, не осталось.

При увольнении в город юнкер оставлял винтовку в роте. В ротах остались и пулеметы и ручные гранаты.

Поручение Военно-революционного комитета было выполнено.

VII

Не помню уже, как мы связались с Огнево-химическим батальоном: то ли по телефону, то ли кто-то из нас подошел туда. До батальона этого было рукой подать, он был расквартирован за квартал от Владимирского училища, и не прошло и получаса, как к училищу подошел наряженный в наше распоряжение взвод, человек пятьдесят солдат при опытном и дельном унтер-офицере.

Получив от вертящегося около нас подполковника Сасько расписание внутренних и внешних постов, мы заменили юнкеров присланными солдатами.

Было часов девять вечера, если не больше. Училище находилось целиком во власти Военно-революционного комитета, хотя Зимний еще оборонялся и был взят только к двум часам ночи.

Смешно было глядеть на юлившего около нас Сасько.

«Господин комиссар! Слушаюсь, господин комиссар! Будет исполнено в точности, господин комиссар», — так и сыпалось с его языка. И я никак не мог побороть в себе сидящего, видимо, в каждом юнкере школьника, неожиданно поменявшегося мес-

тами с классным руководителем, — ведь еще утром я вытягивался перед подполковником, произнося стереотипную фразу: «Господин полковник, разрешите обратиться?» И лишь после этого попросил разрешения отправиться в Смольный.

Довольно большой караул, присланный из Огнево-химического батальона, вызвал нужду в караульном помещении. Под караул в училище была отведена небольшая комната, примыкавшая к актовому залу. Она показалась недостаточной, и солдаты по нашему приказанию устроили «караулку» в офицерской читальне.

На длинном, красного дерева столе, рядом с отодвинутыми в сторону журналами появился искромсанный черный хлеб, зачернели закопченные солдатские котелки, валялись деревянные ложки. На обитых дорогой кожей сиденьях покойных кресел лежали патроны, холщовые под сумки и всякий немудреный солдатский скарб. В читальне непривычно запахло махоркой и портянками, и, может быть, ничто так красноречиво не говорило о совершившемся в училище перевороте, как эти малоприметные мелочи.

Посылая нас комиссарами в юнкерское училище, Механошин не дал нам никакого другого оружия, кроме напечатанных на пишущей машинке мандатов. Пора было подумать о личной самозащите, и я приказал подполковнику Сасько обеспечить нас револьверами.

Нам тотчас же принесли три новеньких испанских браунинга. Они были предназначены для очередного выпуска — 1 ноября юнкеров старшего курса должны были произвести в офицеры. Аккуратно уложенные в картонные футляры, эти пистолеты были покрыты густой фабричной смазкой. Сунув запасную обойму в карман, я обходил опустевшие роты, на ходу стирая с вороненого пистолета сгустившееся ружейное масло. Браунинг не был заряжен, но дневальный 1-й роты, здоровенный юнкер с коротко стриженной головой, побледнев, с нескрываемой ненавистью сказал мне:

— Уберите револьвер, господин комиссар! Сегодня мы еще не собираемся напасть на вас...

Всю ночь мы не спали. Набежало множество дел, которых нельзя было даже предвидеть. Наконец в училище, которое к ночи снова наполнилось юнкерами, надо было быть начеку.

Наутро начальник училища, очень вежливый и очень маленький генерал с княжеским титулом и незапомнившейся фамилией (как будто Черкашин или что-то вроде этого), которого юнкера почему-то прозвали Пистолетом, через штабс-капитана Сергиевского передал, что ни во что не желает вмешиваться. Пусть большевистские комиссары управляют училищем, как им вздумается...

Отошли от дел и исчезли и почти все офицеры. Счастливым исключением явился адъютант училища Сергиевский. Предупредительный и любезный донельзя, он продолжал командовать писарями в просторной училищной канцелярии. Изъявило желание работать с комиссарами и несколько младших офицеров, недавних юнкеров, только что произведенных в прапорщики.

До поры до времени мы решили сохранить в училище обычный распорядок. Занятия, лекции и караульная служба, конечно, отпали, но дежурство и дневальство в ротах юнкера продолжали нести, и мы не видели нужды мешать им в этом.

Сразу же встал вопрос об училищном хозяйстве. Помощник начальника училища по хозяйственной части скрылся, надо было кого-то поставить на его место. Юнкер Гюнтер, тот самый, который сдал телефонную станцию, вызвался взять на себя хозяйство училища, и мы охотно согласились на это.

Пришлось нам подумать и о создании чего-то вроде комиссариата. Этим занялся Лебедев. Он отыскал свободный класс, приказал поставить туда койки для нас и раздобыл пишущую машинку.

Юнкер Герцык, очень смешной и нескладный юноша с растерянными глазами на некрасивом лице и на редкость неловкими движениями, вызвался помогать нам и с явной охотой начал выполнять даваемые ему мелкие поручения.

Оборудовав «комиссариат», Василий оказал всем нам медвежью услугу. Бессмысленно было залезать на третий этаж далеко от пулеметной команды, находившейся во флигеле. Неосторожно было располагаться между самыми контрреволюционными ротами училища — 1-й и 3-й. Но обо всем этом мы подумали много позже, когда полусонными были захвачены мятежниками.

Едва дождавшись утра, Рогачевский уехал в Смольный за указаниями. Отсутствовал он порядочно, и я тем временем с помощью солдат из команды изъясил все имеющееся в ротах оружие и отправил его в оружейный склад, находившийся во дворе.

Вернувшись из Смольного, Рогачевский привез уйму новостей, касающихся совершившегося ночью государственного переворота, взятия Зимнего, ареста Временного правительства и создания Совета Народных Комиссаров с Владимиром Ильичем Лениным во главе. Привез Рогачевский и воззвание Военно-революционного комитета.

«Всем армейским комитетам действующей армии. Всем советам солдатских депутатов, — прочел я. — Петроградский гарнизон и пролетариат низвергли правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Солдаты, — взывало воззвание, — за мир, за хлеб, за народную власть!»

Мужественные и вдохновенные слова воззвания невольно волновали. Но нам нужно было другое, надо было решить, что делать с восьмьюстами шальных и озлобленных парней, умеющих неплохо стрелять.

— А что, если дать юнкерам отпуска? — предложил я. — Большинство юнкеров училища прибыло из провинции. Петербуржцев в нем раз, два — и обчелся. От поездки домой никто не откажется. А распыленные по всей России и к тому же безоружные юнкера вряд ли хоть чем-нибудь повредят делу революции.

Предложение мое не встретило возражений, и Рогачевский, на которого мы возложили связь со Смольным, поехал к Механошину. Кажется, на этот

раз он попал к С. И. Гусеву, в то время ответственно-му секретарю Военно-революционного комитета.

И Гусеву и другим членам Военно-революционного комитета было не до распорядка во Владимирском военном училище. Керенский с помощью казачьего генерала Краснова уже готовил наступление на Петроград, в Москве шли бои с юнкерами, подлейший Викжель*, находившийся в меньшевистско-эсеровских руках, требовал создания коалиционного правительства, грозя железнодорожной забастовкой.

Наше предложение об увольнении юнкеров в отпуск не встретило возражений Гусева, и, воспользовавшись этим, мы объявили по училищу, что каждому юнкеру может быть предоставлен десятидневный отпуск.

Расчет наш оказался верным, и около канцелярии училища сразу же выстроилась длиннейшая очередь из юнкеров, жаждущих обещанного отпуска.

VIII

Увольнение юнкеров в отпуск оказало на большинство из них магическое действие. Сразу исчезли злобные, исподлобья бросаемые взгляды, заносчивый тон, скрытые, а то и явные угрозы по нашему адресу.

Училище словно примирилось с нами, комиссарами столь ненавистного юнкерам Военно-революционного комитета.

Теперь уже ни один юнкер не забывал, подойдя к кому-либо из нас, почтительно вытянуться и, отдав честь, попросить разрешения обратиться.

Писаря не успевали заполнять отпускные билеты. Печатные бланки быстро кончились, отпускные билеты начали печатать на пишущей машинке под копирку. У меня даже рука устала подписывать услужливо подкладываемые мне отпускные свидетельства.

* Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожников.

— Господин комиссар, — то и дело слышалось в училищной канцелярии, — осмелюсь доложить, господин комиссар, четвертая рота просит увеличить срок отпуска до двух недель.

Даже отделенный Быков и тот, улучив минуту, подошел ко мне и, щелкнув каблуками, заискивающе начал:

— Извиняюсь, господин комиссар, ежели я, как отделенный, позволил себе что-либо... От усердия службы-с...

Училище быстро опустело, свыше шестисот юнкеров уехало в отпуск.

Четверг и пятница прошли спокойно. Но в пятницу во второй половине дня в училище просочились слухи о якобы успешном наступлении Керенского и о красновских казаках, высадившихся в Гатчине и продвинувшихся к Пулкову.

Вечером несколько солдат из команды училища притащили в «комиссариат» двух упирающихся юнкеров. Юнкера были бледны, хотя и пытались скрыть свой испуг; у одного из них кто-то оторвал ворот от гимнастерки.

— Расстрелять, мать их!.. Гады! — неистовствовали солдаты.

Кое-как успокоив солдат, я постепенно выяснил, что привело их в такую ярость. Оказалось, что обоих юнкеров проследили и поймали в тот момент, когда они пытались запрятать винтовки под сложенные в ротном цейхгаузе тюфяки. Всего припрятано было восемь винтовок, кто-то из солдат принес их в «комиссариат».

Ярость солдат грозила вылиться в самосуд.

— С пойманными юнкерами, — решительно заявил я, — будет поступлено по революционному закону. Сегодня же мы произведем следствие, — обещал я и приказал запереть задержанных юнкеров в пустующем классе.

Лебедев и Рогачевский отыскиались не сразу, — у всех у нас дел было по горло, да и училище размещалось в двух зданиях, расположенных довольно далеко друг от друга.

Посоветовавшись, мы решили привлечь к следствию представителя солдат, — надо было успокоить команду.

Допрос юнкеров занял весь вечер. Оба задержанных оказались юнкерами 1-й роты. Рослые, подтянутые, они в один голос заявили на неизбежный по тому времени вопрос о политических убеждениях, что принадлежат к «партии народной свободы».

«Партия народной свободы», или кадетов, давно уже заслужила законную ненависть народных масс. Юнкера явно бравировали. Непосредственная опасность прошла, так отчего бы не покрасоваться столь неприемлемыми сегодня взглядами. К тому же обоим задержанным вряд ли было вместе больше сорока лет...

IX

27 октября Керенский телеграфировал главнокомандующему Северного фронта:

«Город Гатчина взят войсками, верными правительству, и занят без кровопролития. Роты кронштадтцев, семеновцев и измайловцев и моряки сдали беспрекословно оружие и присоединились к войскам правительства. Предписываю всем назначенным в путь эшелонам быстро продвигаться вперед. От Военно-революционного комитета войска получили приказание отступить».

Керенский бесстыдно врал. Краснов разоружил в Гатчине лишь одну случайно напоровшуюся на казаков роту солдат, и ни один из них не подумал присоединиться к «войскам, верным правительству».

Но телеграмма эта в субботу 28 октября уже широко распространилась по Петрограду.

Во второй половине дня по какой-то надобности я побывал на Невском. Ехидный шепот перерастал в угрозы, кое-где случайная толпа разоружала одиночек-красногвардейцев, тревога ползла по притихшим улицам Питера.

Я вернулся в училище; ни Лебедева, ни Рогачевского не было. Я прошел по ротам. Ненавидящие

взгляды юнкеров преследовали меня. Во 2-й роте с десятков юнкеров валялись на койках. Никто не встал при моем появлении, и едва я направился к выходу, как кто-то вполголоса пропел за моей спиной:

Последний нонешний денечек
Гуляешь ты, наш комиссар...

Еще вчера в училище царило совсем другое настроение.

Сегодня по взглядам, бросаемым юнкерами, по обрывкам издевательски перефразированной популярной песни, по отрывистому, произнесенному нехотя ответу юнкера чувствовалось, что училище вот-вот выйдет из повиновения.

Я вернулся в «комиссариат» и инстинктивно глянул в угол, куда были поставлены отнятые накануне у юнкеров винтовки. Винтовок не оказалось: кто-то, пользуясь нашим отсутствием и небрежностью солдата, стоящего на посту у телефона, вынес их из комнаты.

Восемь винтовок на разоруженное училище — конечно, не это обеспокоило меня. Волновал самый факт исчезновения оружия. Я вызвал к себе адъютанта училища штабс-капитана Сергиевского и приказал ему разыскать пропавшее оружие.

Сергиевский неожиданно усмехнулся, на матово-смуглом лице появилось ироническое выражение, и, уже не таясь, он с откровенной ненавистью в голосе сказал:

— Ваши приказания, господин комиссар, для меня не обязательны.

Разговор этот происходил в присутствии нескольких оказавшихся в комнате юнкеров.

Я объявил Сергиевскому, что арестовываю его, и, вызвав караульного начальника, приказал ему доставить арестованного в Петропавловскую крепость.

О Петропавловской крепости в те дни по городу ходили кем-то умышленно распускаемые провокационные слухи. Рассказывали о самосудах, якобы учиненных над доставленными в крепость офицерами и юнкерами, взятыми в Зимнем дворце.

Нелепым рассказням верили, перспектива очутиться в страшной Петропавловке ошеломила и строптивого штабс-капитана и юнкеров.

Слух об аресте адъютанта училища распространился по ротам с такой быстротой, что я не успел опомниться, как на меня начали нажимать представители «юнкерского большинства». Кто-то — кажется, Голосовкер — пытался заступиться за штабс-капитана; трусливый, как и все наглецы, адъютант училища растерялся и готов был пойти на попятный.

Я отобрал у Сергиевского ключи от денежного ящика и отправил его в Петропавловскую крепость. Усиленный конвой провел арестованного мимо собравшихся у «комиссариата» притихших юнкеров. Тотчас же внизу в вестибюле загрохотали окованные приклады, — это пришли солдаты Огнево-химического батальона.

Еще до ареста Сергиевского мы решили вызвать из Огнево-химического батальона караульный взвод. С этой целью Лебедев и позвонил в батальон. Последние два дня в карауле стояли солдаты из команды; в большинстве своем нестроевщина, они не казались нам надежной охраной.

Была еще одна причина, заставившая нас снова обратиться за помощью в Огнево-химический батальон. Почти сразу же после взятия Зимнего дворца какой-то сброд в солдатских шинелях, проникнув во дворец под видом участников штурма, разыскал винные погреба бывшего императора и, взломав тяжелые двери, занялся грабежом.

Вскоре у винных подвалов Зимнего образовалась длиннейшая очередь, выстроившаяся вдоль всей Миллионной улицы. Появились шинкари, тут же торгующие вином, из винных бочек прикладами выбивались втулки, и хлынувшее вино начало заливать погреба. Передавали, что в вине утонуло несколько перепившихся солдат.

Вслед за разгромом винных погребов Зимнего вино и водка появились во многих частях гарнизона; пошли пьяные погромы, для пресечения которых Смольный вынужден был выслать броневики.

В некоторых частях Петроградского гарнизона началось разложение. Коснулось оно и команды солдат Владимирского училища. Караульная служба неслась из рук вон плохо, в команде появились пьяные.

В не так давно опубликованных воспоминаниях * А. Ильин-Женевский, являвшийся одновременно комиссаром гренадерского полка и Огнево-химического батальона, рассказывал:

«Как раз накануне выступления ко мне звонил назначенный Петроградским Советом комиссар этого училища, по фамилии, если не ошибаюсь, Лебедев, и, сообщив, что в училище наблюдается некоторое брожение, просил прислать ему на всякий случай команду химиков. Я немедленно сделал соответствующее распоряжение, команда химиков в училище была действительно послана и, как мне стало потом известно, приняла на себя первый удар восставших юнкеров».

«Первый удар», о котором говорил Ильин-Женевский, приняли на себя не «химики», а пулеметчики училища, но об этом позже.

С приходом «химиков» мы объявили личный состав училища арестованным и заявили явившимся для переговоров членам училищного комитета, что ни один юнкер не будет выпущен из училища, пока не явятся с повинной и украденными винтовками те, кто позволил себе эту наглую вылазку.

Пока мы занимались устрашением юнкеров, из Смольного вернулся Рогачевский. Он был спокоен и весел.

— Все это чепуха насчет Керенского, — сказал он, — не сегодня-завтра его отгонят и разобьют.

Наскоро рассказав мне и Лебедеву, к этому времени также появившемуся в главном здании, о том, что в Смольном царит полная уверенность в быстром разгроме генерала Краснова, Рогачевский принял участие в длительных переговорах, которые до его приезда я один вел с юнкерами.

* «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Лениздат, 1956, стр. 229—230.

Было уже поздно — вероятно, около полуночи, — а юнкера все еще сидели под арестом. Запретив выпускать их из училища, я не мог и подумать, что этим невольно увеличиваю силы заговорщиков.

Несмотря на арест, юнкера долго не шли на уступки. В конце концов они не выдержали и вернули украденные винтовки, но выдать виновных наотрез отказались. С наступлением ночи лишение юнкеров увольнения в город теряло свой смысл, и нам пришлось удовлетвориться возвратом пропавшего оружия.

Арест с училища был снят, часть юнкеров все-таки ушла в город, роты как будто уgomонились. Но я по-прежнему нервничал и, томимый тяжелым предчувствием, настаивал на принятии чрезвычайных мер по охране училища.

— Товарищи, необходимо держать училище в полной боевой готовности, — горячо говорил я Рогачевскому и Лебедеву, когда мы остались втроем. — На всякий случай надо выставить на Большой Гребецкой заставу с пулеметом, тем самым устранив возможность неожиданного нападения со стороны Большого проспекта. Один из нас должен поехать в Смольный и держать оттуда связь с нами, все время информируя о положении. Пусть это сделает Рогачевский, в Смольном он уже все и всех знает. А мы вдвоем будем обходить выставленные в училище внешние и внутренние караулы и заставу на Гребецкой. Пока один из нас будет занят охраной, второй будет дежурить у телефона.

— Бросьте панику разводить! — высмеял меня Рогачевский. — Никуда я не поеду, да и незачем. Ничего не может случиться. Если хотите, я пойду спать в первую или в третью роту.

Василий поддержал Рогачевского. Мне оставалось только подчиниться. У всех у нас были одинаковые, выданные Смольным комиссарские мандаты, большинство голосов решало любой вопрос. Наконец, продолжая спор, я рисковал быть обвиненным в трусости, а в двадцать лет, когда к тому же на плечах твоих блещут юнкерские погоны, мучительнее всего показаться трусом.

— Ладно, товарищи, пусть будет, как вы хотите. Но смотрите, как бы нам не проснуться арестованными, — сдался я, стаскивая с себя сапоги и устраиваясь на койке, чтобы впервые за четверо суток вздремнуть.

Мое предсказание, к сожалению, сбылось: мы проснулись арестованными.

Много времени спустя из опубликованных воспоминаний коменданта Петропавловской крепости тов. Благоднаров я узнал, что о готовившемся мятеже ему стало известно еще ночью. В крепость был доставлен задержанный красногвардейским патрулем член заговорщического «Комитета спасения родины и революции» эсер Брудерер. При нем оказались секретные планы заговорщиков, и Благоднаров поехал в Смольный. Брудерер ухитрился сбежать, но о плане мятежа Благоднаров тогда же доложил Военно-революционному комитету.

Находишь в это время в Смольном Рогачевский, он сделал бы то, что позабыл сделать в суматохе этой сумасшедшей ночи комендант крепости, — сразу поставил бы нас в известность о готовившемся мятеже. Но если бы это и не было сделано, то выставленная на Большую Гребецкую застава все равно не подпустила бы к училищу направляющийся с Большого проспекта отряд «увечных воинов» и ударниц. Наконец, дежурь кто-нибудь из нас в эту роковую ночь, часовые не пропустили бы к дежурному офицеру училища и делегата пресловутого «Комитета спасения», да и самый караул не был бы захвачен врасплох.

Я говорю об этом не для того, чтобы похвастаться своей предусмотрительностью. Слепой случай и на войне и в вооруженном восстании играет очень важную роль. Красногвардейский патруль случайно захватил эсера Брудерера. Столь же случайно Благоднаров, не вспомнив о Владимирском училище, не дал знать нам о заговоре, в котором основную роль должны были играть владимирцы. Такая же случайность и то, что юнкера, больше из озорства, стащили стоявшие в нашем «комиссариате» винтовки. Не сделай они этого, я не настаивал бы на

принятии чрезвычайных мер к охране училища. Случайно я зашел накануне в 1-ю роту, и так же случайно юнкер напел мне вслед издевательскую песенку о доживающем последний денечек комиссаре. А без этого я, возможно, не предложил бы выставить на Большой Гребецкой заставы с пулеметом.

Но случайность случайностью, а излишняя самоуверенность так же опасна на войне и в революции, как и трусость. Поэтому-то я и решил рассказать об этом небольшом эпизоде.

Х

Казалось бы, все равно, в каком ты находишься виде, когда тебя собираются прикончить, когда на тебя направлены штыки ударников и вороненые дула юнкерских пистолетов. Но человек странно устроен, и боязнь показаться смешным порой преодолевает даже страх смерти.

Никто из нас троих, захваченных мятежниками врасплох комиссаров, ни на минуту не прилег, начиная с 24 октября. Четыре бессонные ночи сделали свое, и в эту роковую ночь мы спали крепчайшим сном.

Теперь мы под штыками ударников натягивали на себя сапоги, от волнения ноги не сразу попадали в голенища, и, конечно, у нас был самый смешной и жалкий вид.

Оказать вооруженное сопротивление мы не могли: нас перебили бы раньше, чем кто-либо из нас успел выстрелить. Мужчина в военных шароварах с болтающимися штрипками и без сапог всегда смешон; и хоть это может показаться неправдоподобным, меня куда больше угнетало в первые минуты после нашего ареста мое унижительное положение, нежели его безнадёжность.

Эти несколько минут, в течение которых я пережил больше, чем за все последующие десять часов страшного плена, навсегда выработали во мне своеобразный рефлекс — и в годы гражданской войны и во время великой битвы с фашистской Германией, особенно в первый ее год, чреватый любыми слу-

чайностями, я никогда не разувался в непосредственной близости от противника, и особенно там, где возникала возможность внезапного нападения на нас.

...Помню, в сорок первом году я приехал к генералу Доватору, расположившемуся со штабом своей конной группы к западу от города Белого. Казачьи части группы были дислоцированы так, что штаб Доватора оказался ближе к немцам, чем к своим частям, и догадайся об этом противник, штаб мог бы оказаться в его руках.

С Львом Михайловичем Доватором к этому времени у меня сложились теплые и дружеские отношения, я ехал к нему, как в родной дом, хотя это и звучит странно, когда говоришь о войне.

После ужина, когда я устроился на сене, принесенном в коридор облюбованной штабом пустующей школы, Доватор пришел ко мне поболтать на сон грядущий о всяких занимавших нас обоих вещах.

Я лежал на душистом сене, как был, в сапогах, только ослабив поясной ремень с оттягивавшей его кобурой от пистолета. Заметив это, Доватор поднял меня на смех:

— Да ты что? Струсил, видно, если не снимаешь сапог? — не без издевки спросил он.

— Не снял и снимать не собираюсь, — ответил я и рассказал генералу о случае во Владимирском военном училище.

— А, пожалуй, ты прав, — уже другим тоном произнес Доватор. — На фрицев мне наплевать, но столкнуться с ними, будучи смешным, я бы ни за что не согласился.

Месяца через два после этого разговора безудержная отвага Доватора привела его к трагической гибели. Истинный герой, он и пал смертью храбрых, но тогда в обращенной в штаб школе он отлично понял меня и отказался от каких бы то ни было обвинений в малодушии и трусости.

Но вернемся к юнкерскому мятежу. Нас захватили врасплох. Откуда-то из коридоров доносился топот солдатских сапог, возгласы, крики, нарастал шум. Тяжелая муть октябрьской ночи серела за окнами.

За дверью класса, в котором разместился наш «комиссариат», грохнул выстрел, — это выстрелил солдат, поставленный еще с вечера у находившейся в коридоре телефонной будки. Обезоруженный, он вбежал в комнату и, перекрикивая шум, пытался что-то сказать. Вслед за ним с браунингами в руках ворвались три юнкера; за ними с винтовками наперевес бежали три ударника с «мертвыми головами» на рукавах шинелей.

— Керенский в городе! Сдавайтесь! — с порога выкрикнул портупей-юнкер Голосовкер и, направив на меня пистолет, зачем-то прибавил: — Вы арестованы!

В эти незабываемые дни стремительно менялось все. Еще вчера военное училище было в наших руках. Сегодня мы торопливо натягивали сапоги под направленными на нас штыками ударников и браунингами юнкеров и ждали самосуда или расстрела.

В том, что мы доживаем свои последние часы, а может быть, и минуты, сомневаться не приходилось; и непонятно, почему мятежники, безжалостно расстрелявшие из пулемета мирную толпу, оказавшуюся на Большой Гребецкой, не прикончили нас.

Пока мы обувались, неизвестный офицер, проникший, вероятно, в училище вместе с ударниками, вбежал в комнату и начал осыпать нас злобной непечатной бранью. Казалось, бешеная слюна вот-вот выступит на его пересохших губах, и мне до сих пор неясно, почему он никого из нас не пристрелил.

Непослушные сапоги были, наконец, натянуты на ноги, бушующий офицер, все еще бранясь, выскочил в коридор, какие-то юнкера вбегали в комнату, грозили и издевались. Тусклые, словно гноящиеся, глазки моего отделенного уставились на меня, угрожающей синевой блеснул направленный в упор штык, щелкнул ружейный затвор. Я отступил к стене. Если бы у меня в руках была палка, я, не раздумывая, ударил бы целящегося в меня Быкова. Я готов был броситься на него.

— Быков, — крикнул я, — что ты делаешь?

Я ждал, что он нажмет на спусковую пружину и грянет выстрел, но его оттащили.

Немолодой уже человек в черном пальто с барашковым воротником, — кажется, это был эсер Брудерер, — не спеша вошел в комнату и пренебрежительно сказал:

— Товарищи! Впрочем, я не назову вас товарищами... — Он сделал паузу и небрежно закончил: — Можете не беспокоиться.... Самосуда не будет. Вас будет судить военно-полевой суд.

Конечно, мы, захваченные в плен мятежниками комиссары, не могли быть товарищами для этого молодчика из Гоце-Авксентьевской компании. Но и сообщение о том, что самосуд заменят военно-полевым судом, запоздало, — пьяная волна ненависти и озорства с полчаса уже как схлынула, с улицы доносился шум пулеметов, юнкера заметно трезвели.

Страх и растерянность, владевшие мною, прошли, и щемило лишь гнетущее чувство: ведь вот как глупо и бездарно получилось — попались, как мальчишки! Керенский оказался в городе, и, стало быть, многотысячный петербургский пролетариат вдруг в несколько часов почти без боя сдал только что захваченную власть.

«Нет, не может быть! — решал я. — Юнкера врут, не может быть, чтобы красновские казаки вошли в Питер! Но тогда откуда взялись ударники, каким образом без выстрела удалось обезоружить караул и захватить училище?»

Брудерер ушел, у дверей «комиссариата» поставили усиленный караул — внутренний и внешний.

Вскоре в комнате, где мы находились, появился руководивший мятежом полковник Куропаткин. Он был почему-то без шинели и фуражки и имел такой вид, словно на минуту забежал из соседней комнаты, в которой разделся и основательно расположился.

Пулеметчики из команды училища, открывшие огонь по юнкерам, пытавшимся пробраться к оружейному складу, продолжали обстреливать двор, и полковник попытался использовать нас для того, что-

бы вступить с ними в переговоры. Выбор его почему-то пал на Лебедева.

— Пойдете вы, — резким голосом приказал он Василию, — скажете этой сволочи, чтобы прекратили огонь! А вас, — повернулся полковник к нам, — мы сразу же расстреляем, если этот гусь, — показал он на Лебедева, — не вернется.

Лебедев хотел что-то сказать, но передумал и, недоуменно пожав плечами, вышел в коридор.

Сбежать от вскоре отставшего от него юнкера и выбраться со двора на улицу Лебедев, конечно, мог. Но ему и в голову не пришло, что можно, спасая себе жизнь, обречь на расстрел оставшихся заложниками товарищей.

Лебедев, наконец, вернулся. Флегматичное лицо его было по-прежнему спокойно, но я достаточно хорошо знал его; чтобы понять, что он чем-то расстроен.

— Что с вами? — спросил я шепотом.

— Ничего, — так же приглушенно ответил он.

Он так и не сказал ни мне, ни Рогачевскому, что произошло с ним за эти двадцать-тридцать минут, пока он ходил к пулеметчикам.

Совсем недавно в архиве отыскалась короткая переписка, объяснившая угрюмое молчание Лебедева. Пулеметчикам, к которым его послал полковник Куропаткин, Лебедев сказал то, в чем его уверили сопровождавшие юнкера, — что Керенский в городе и училище захвачено передовым отрядом наступающих на Петроград казачьих войск. На всякий случай Лебедев предложил пулеметчикам проверить, так ли все обстоит, как на этом настаивают мятежники, и, пользуясь тем, что в глазах юнкеров он являлся парламентаром, вывел пулеметчика Леонова из здания и дал ему возможность добраться до районного Совета депутатов.

Вернувшись к нам, Лебедев, видимо, понял, что сделал ошибку, став жертвой своей ненужной доверчивости, и погрузился в такое мрачное раздумье.

Лебедеву тогда едва ли исполнилось двадцать лет, он все-таки был наивным мальчуганом и большим

чудаком, и то, что он говорил пулеметчикам, вероятно, было сказано только от излишней юношеской доверчивости. Трусом он не был. Наоборот, поверив, что Керенский в городе, он возвратился под арест в полной уверенности, что его расстреляют вместе с нами, — Лебедев отлично знал, что контрреволюция ни за что не простит нам нашей «измены».

Высокий ударник в каске оставил нам несколько папирос. Наконец-то можно было покурить! Зато новый часовой, поставленный во внутренний караул, запретил нам разговаривать. Лебедев присел за пишущую машинку, меланхолично заявив, что хочет писать мемуары. Часовой, да и мы с Рогачевским с удивлением воззрились на него. Мы знали, что Василий чудак, но мало быть только чудаком, чтобы помышлять о мемуарах, находясь в плену у захвативших училище мятежников.

Часовой, пригрозив штыком, грубо отогнал Василия от стола и заставил лечь на койку.

Заставил он лечь и нас с Рогачевским. Теперь это было единственным, что нам разрешалось: лежать и тоскливо думать, лишь изредка обмениваясь друг с другом осторожными, произнесенными шепотом репликами.

Последний часовой, — а их сменилось уже немало, — оказался на редкость неприятным субъектом. Нескладный, в бугром стоявшей на спине короткой шинели и давно не чищенных сапогах, с одутловатым скопческим лицом, лишенным и признака растительности, и неряшливыми космами выцветших волос, торчащими из-под неуклюжего картуза, он при малейшей нашей попытке слезть с койки или громко заговорить с товарищем, визгливым бабьим голосом осаживал нас и угрожающе вздергивал винтовку. Мы не сразу поняли, что во внутреннем карауле стояла женщина.

XI

Петроградский гарнизон, однако, и не подумал присоединиться к мятежникам. Высланные из Петропавловской крепости на броневике бойцы предложи-

ли юнкерам сдаться; те ответили пулеметным огнем, и началась многочасовая осада училища.

Мы стояли в простенке, слева и справа от нас крошились оконные стекла, на улице настойчиво, но негромко стучал пулемет, и, как пруд, испещренный внезапным дождем, была изрыта пулями штукатурка на противоположной стене. Мы не заметили бы первых, врезавшихся в окрашенную казенной охрой стену красногвардейских пуль и не слышали бы дребезжанья разбитых стекол, если бы юнкер, сменивший ударницу, стоявшую во внутреннем карауле, стремглав не выбежал в коридор, а новые пули не просыпали искрошенной штукатурки на койку Рогачевского.

Где-то на крыше напротив училища осаждающие поставили пулеметы. Юнкера нас бросили. Сбежавший часовой так и не возвращался. Выйти в коридор — значило бы самим дать повод для новой попытки к самосуду.

В коридорах шла беготня. Кто-то кричал молодым, срывающимся на высоких нотах голосом:

— Товарищи, перестаньте стрелять! Полковник приказал прекратить огонь!

Юношеский или женский голос — среди ударников были женщины — повторил приказание полковника, снизу по-прежнему глухо и раскатисто гудели пулеметы мятежников.

Догадываясь о том, что происходит в осажденном училище лишь по передвигающемуся шуму выстрелов и отдельным возгласам, доносившимся из коридора, мы много позже смогли представить себе ход мятежа и цели мятежников.

По оперативному плану, разработанному штабом мятежников, обосновавшимся в Инженерном замке, Владимирское военное училище с помощью расположенного через квартал Павловского юнкерского училища должно было захватить основную большевистскую цитадель — Петропавловскую крепость.

Возглавлявший штаб мятежа полковник Полковников и стоявший за его спиной экс-премьер Керенский жестоко просчитались. Вместо восьмисот юнке-

ров, на вооруженное выступление которых рассчитывали заговорщики, в училище ко дню мятежа осталось немногим больше ста человек, остальные разъехались по провинции. У оставшихся в училище юнкеров не было ни винтовок, ни пулеметов, изъятых из рот и отнесенных в училищный цейхгауз еще утром 26 октября. Правда, в одном отношении заговорщикам повезло, — оружие продолжало оставаться на Большой Гребецкой.

О том, что отобранное оружие все еще находится на Большой Гребецкой, «Комитет спасения» знал от своих агентов. Но получить доступ к этому столь нужному для заговорщиков оружию мятежникам удалось не сразу. Сочувствующие большевикам, возглавленные назначенным нами помощником комиссара солдатом-большевиком Леоновым пулеметчики из училищной команды, открыв огонь, преградили мятежникам путь к находившемуся во дворе оружейному складу.

Когда же сопротивление пулеметчиков было сломлено, к мятежному училищу подошли высланные из Петропавловской крепости броневики и красногвардейские отряды. Соединиться с «павлонами» и вооружить их было уже нельзя, и мятежникам вместо задуманного наступления на Петропавловскую крепость пришлось перейти к обороне.

Чувствуя себя в относительной безопасности за надежными, старинной кладки стенами училища, юнкера в ответ на предложение сдаться, сделанное с броневика, открыли по нему, а заодно и по любопытствующим, в большом количестве собравшимся на Большой Гребецкой, яростный пулеметный огонь.

Трудно сказать, сколько времени мы простояли в простенке, укрываясь от града пуль, сыпавшихся в окна. Часов ни у кого из нас не было, да и представление о времени в таких случаях, когда не знаешь, доживешь ли до вечера, имеет весьма смутный характер.

Юнкера и ударники захватили нас в седьмом часу утра. Мятежное училище было взято штурмом около четырех часов дня. В юнкерском плену мы

провели около десяти часов. Вероятно, час-другой, проведенный нами под жестоким обстрелом, казался нам вечностью.

Особого страха мы не испытывали, хотя ни на что не надеялись. Те, кому приходилось бывать в настоящей, а не мнимой опасности, знают, что страх всегда предшествует опасности. Страшно бывает не в бою, а перед боем. Страшно ждать смерти, но когда она оказывается рядом с тобой, не так уж трудно заставить себя либо не думать о ней, либо, — что, в сущности, одно и то же, — сосредоточить все свое внимание на второстепенных мелочах: проследить за тем, куда шлепнулась пуля; вспомнить, что в измятом коробке не осталось спички; представить себе, как несказанно вкусна недоступная для тебя затяжка и вдруг становится почти физически ощутимым выпущенный из ноздрей сладковатый дым...

Так было и с нами. Прижимаясь друг к другу, мы даже обменялись ироническими фразами насчет порядком струсивших юнкеров.

Выпускаемые невидимым пулеметом пули продолжали выбивать коричневые вмятины на противоположной окнам внутренней, но капитальной стене. Они уходили в толстый слой штукатурки и почти не отскакивали от старинной кирпичной кладки.

Но вот за окнами заработал второй пулемет, и пули застучали об изразцы неуклюжей голландской печки. Царапая изразцы, они с шумом отскакивали от них. И я хорошо помню, как неожиданно вспомнилось когда-то вызубренное правило из гимназического учебника физики Краевича. Автора скучного и объемистого учебника ненавидели все старшеклассники, но то, что «угол падения равен углу отражения», осталось на всю жизнь.

И, наблюдая за пулями, обсыпавшими изразцовую печь, я несколько раз повторил про себя забытое правило, пока не уразумел, что рикошета ни мне, ни товарищам опасаться не приходится.

Мы уже понимали, что мятеж обречен. Но мы знали, что училище не сдастся без упорного боя.

А это значило, что либо под конец боя кто-ни-

будь всадит в тебя штык или пристрелит, решив, что раз умирать, то умирать всем вместе; либо, взяв училище штурмом, осаждающие расправятся и с нами, сгоряча приняв нас за мятежников.

Мучало бессилие, беспомощность пленного, вынужденное безделье во время ожесточенной схватки. Я отдал бы все, если бы только мне было что отдавать, за то, чтобы с винтовкой в руках очутиться в толпе красногвардейцев, солдат и матросов, штурмующих мятежное училище.

Пока мы стояли в простенке, по коридору пробежал провокационный слух, пущенный кем-то из заправил мятежа.

— Казаки едут, казаки!.. — сообщая друг другу радостную новость, кричали мелькающие в дверях юнкера и ударники.

В этот жестокий день трудно было отличить ложь от правды. Ударницы выдали себя за авангард войск Керенского, кто-то распускал по училищу слухи то о казаках, идущих на подмогу мятежникам, то о Михайловском артиллерийском училище, якобы выступившем на выручку владимирцев. Минут за десять до сдачи училища на противоположном доме появился огромный плакат: «Не сдавайтесь, вам идет помощь!»

Ко всему привыкаешь, и мы, вероятно, смирились бы со стоянием в узком простенке, если бы не мучительное желание курить. В спичечном коробке не осталось ни одной спички, и мы тщетно обращались к пробегавшим мимо дверей юнкерам и ударницам с извечной солдатской просьбой насчет огонька.

Чья-то добрая душа сжалилась, наконец, над нами. Воспользовавшись минутным затишьем, какой-то юнкер швырнул в комнату коробок со спичками, а спустя немного, — видимо, по его же просьбе, — нам разрешили выйти в коридор.

Внешний вид училища резко изменился за те полтора или два часа, которые мы провели под обстрелом. Все стекла в окнах были выбиты, кое-где двери слетели с петель, довольно значительная группа юнкеров, оказавшаяся в коридоре, уже не оборонялась,

а сидела на полу, прижавшись к внутренней капитальной стене.

Посторонившись, юнкера очистили для нас место. Мы уселись на пол, и уже трудно было сказать, что делают сидящие рядом с нами с ружьями в руках мятежники: то ли сторожат нас, то ли охраняют от все еще возможных эксцессов.

Шел, вероятно, второй или третий час пополудни. Продолжающийся с раннего утра бой, обилие убитых и раненых, исчезновение большей части ударниц и ударников, незаметно покинувших благодаря своей солдатской одежде осажденное училище, занявшие училищный двор и уже ведущие оттуда огонь большевики, расстрелянные, испортившиеся пулеметы — все это вызвало заметный сдвиг в настроении юнкеров.

Утром они готовы были учинить над нами самосуд. Теперь они, как испугавшиеся ребята, жались к нам и у нас искали защиты от неминуемой развязки.

Мы впервые получили возможность предложить юнкерам прекратить сопротивление и сдаться на милость победителя, — сделай мы такое предложение час назад, нас угостили бы штыком или ударом приклада.

Кто-то из юнкеров побежал вниз к полковнику Куропаткину и вырвал у него согласие на переговоры. На эти переговоры в сопровождении двух юнкеров пошел Рогачевский. Через широкие двери главного подъезда, ведущие на Большую Гребецкую, парламентареры вышли на улицу. Впереди шел юнкер с белой тряпкой на штыке винтовки, затем Рогачевский и за ним уже юнкер с ружьем, взятым на изготовку, — если бы комиссар сделал попытку перебежать к своим, его тут же пристрелили бы.

Не успели парламентареры сделать и нескольких шагов, как по ним открыли огонь. Кто стрелял, было не понять — возможно, даже кто-нибудь из осажденного здания. Шедший впереди юнкер был подбит и рухнул на мостовую, а Рогачевский и второй юнкер поспешно отступили в подъезд.

Рогачевский вернулся. Мы снова сидели втроем. Группа юнкеров, стерегущих или охраняющих нас, заметно увеличилась, перепуганная ударница со слезами на покрасневших глазах бегала по коридору и надорванным голосом выкрикивала:

— Где полковник? Большевики во дворе!..

Тяжелый грохот разрыва потряс стены, неподалеку, в юнкерской чайной, разорвался большевистский снаряд, и черный дым, вырвавшись из распахнувшихся дверей, устремился в коридор.

Розовощекий, очень юный юнкер подбежал к дверям, ведущим в чайную, заглянул во все еще наполненную дымом комнату и, стремительно вернувшись, простонал, обращаясь ко мне:

— Комиссар, вам сколько лет? А мне всего семнадцать, и придется умереть...

Я был всего на три года старше его, но давно опущенная мною борода заставила юнкера выкрикнуть эту мелодраматическую фразу.

Умереть ему не пришлось. Несколько месяцев спустя кто-то сказал мне, что в Технологическом институте будет выступать поэт Александр Блок. Я был, да и по нынешнюю пору являюсь горячим поклонником Блока, возможность увидеть и услышать его сразу же соблазнила меня. Замечательный поэт, выступавший где-то внизу, кажется, в студенческой чайной, оказался совсем не таким, каким я представлял его по портрету, помещенному в популярном трехтомнике. В жизни Блок был более «земным» и, пожалуй, куда привлекательнее. Плотный, крепкий, с коричнево-рыжими кудрями и рыжеватым от веснушек лицом, он показался мне и милее и ближе.

В толпе студенческой молодежи, восторженно теснившейся вокруг прославленного поэта, я увидел и розовощекого юнкера. Заметив меня, он густо покраснел и поспешно исчез.

Вернусь к последним минутам мятежного училища. Неожиданно полковник приказал перевести нас вниз. Он полагал, что заложников надо иметь под рукой. Понимал он и то, что юнкера не верят ему и могут легко поддаться нашему влиянию.

Нас свели вниз, в штаб мятежников, обосновавшийся в коридорчике между забаррикадированным вестибюлем и приведенной бог весть в какое состояние, еще недавно чинной канцелярией. Большая часть столов была перевернута; наложенные друг на друга, они составляли нечто вроде прикрытия; окна канцелярии выходили на Большую Гребецкую и все время простреливались.

Самый штаб мятежа, собственно, являл собой несколько стульев, на которых сидели высокий ударник в каске и кто-то из юнкеров. Еще несколько юнкеров и ударников вертелось около телефонной будки, — по всей вероятности, полковник Куропаткин обосновался здесь по той же причине, по которой Лебедев несколько дней назад облюбовал под «комисариат» пустующий класс, расположенный рядом с телефонной будкой третьего этажа.

Куропаткин по-прежнему был без шинели и фуражки; у него был подчеркнуто деловой вид, говорил он бесстрастно и спокойно, так, словно бой не подходил к концу и в разбитое снарядами училище с минуты на минуту не должны были ворваться штурмующие его матросы и красногвардейцы.

Мы настаивали на прекращении огня и возобновлении переговоров с осаждающими. Куропаткин повторял знакомые юнкерам басни о том, что к ним идет помощь, тщетно пытался дозвониться до Михайловского училища и, наконец, предложил сделать вылазку.

Вылазка была бы безумием. Большая Гребецкая находилась под перекрестным пулеметным огнем, юнкерам достаточно было бы выйти из здания, чтобы осаждающие перестреляли их, не дав перебежать улицу.

Оказавшиеся в штабе мятежа юнкера наотрез отказались от предложенной полковником вылазки.

— Надо сдаваться! — решили они.

Пройдя в канцелярию, я обмакнул ручку обратной стороной в уцелевшую чернильницу и вывел крупными, жирными буквами на развернутом листе бумаги:

«Переговоры! Здесь — арестованные большевики!»

Вывесить этот самодельный плакат не удалось: обстрел училища усилился, на улицу нельзя было и носа высунуть.

Пока я возился со всем этим, Лебедев и Рогачевский куда-то ушли, и я остался один в штабе мятежа.

Из юнкерских разговоров я знал, что одновременно с нами мятежники захватили несших караул солдат. Арестованных держали в караулке, примыкавшей к актовому залу. Решив во что бы то ни стало пробраться к ним, я взбежал по лестнице; труп убитого юнкера лежал на ступенях; перескочив через него, я очутился в коридоре второго этажа. Налево, метрах в восьмидесяти от меня, пробравшиеся в мятежное училище матросы методически обстреливали коридор. Я бросился к ним, но, сообразив, что буду убит раньше, чем дам знать, кто я, свернул вправо, пробежал по стеклянной галерейке, где рядом с денежным ящиком стояли шкафы со старинным оружием, и оказался в актовом зале, переполненном испуганными юнкерами. Кто-то из них попытался преградить мне путь, я небрежно отмахнулся и прорвался к арестованным солдатам. Солдаты обрадованно обступили меня. С утра они сидели под арестом и думали, что мы расстреляны ударниками.

— Дозвольте, товарищ комиссар, с вас погоны срезать, — услужливо предложил кто-то из солдат. — А то не ровен час наши вас за юнкера примут и враз прикончат. Должно, олютел народ, — прибавил он и перочинным ножом начал освобождать меня от опасных погон.

Пока он это делал, из окна третьего этажа, отлично видного из караулки, вылез юнкер и начал спускаться вниз, хватаясь за водосточную трубу. Грянул выстрел, и юнкер, сорвавшись, полетел вниз.

Я приказал одному из солдат попробовать пробраться к осаждающим, в солдатской шинели это казалось возможным.

Последний вскоре вернулся ни с чем. Обстрел усилился, и вдруг мы поняли, что училище взято. Казалось, ничто не изменилось, по-прежнему трещали пулеметы, разве что шум в коридоре стал иным. И вместе с тем, хоть этого и не объяснишь, стало ясно, что с Владимирским военным училищем все кончено...

Солдаты напряженно следили за каждым моим движением; я вышел в актовый зал, и они стремительно последовали за мной. Ближе к окнам, срывая погоны и отбрасывая ненужные винтовки, толпились юнкера. Я никогда в жизни не видел такого количества совершенно белых лиц, такого массового проявления какого-то нечеловеческого страха.

Из коридора слышался бешеный топот, он усилился и уже лавиной обрушивался на нас, и вдруг на пороге актового зала появился первый красногвардеец в нелепом котелке и в перетянutom пулеметными лентами черном замызганном пальтеце, зачем-то опоясанном ремнем с полицейской «селедкой», — так в дореволюционную пору называли тупые полицейские шашки, носившиеся для формы. В руке у неизвестного красногвардейца угрожающе чернел массивный револьвер.

Окруженный солдатами, я подошел к неизвестному и сказал.

— Товарищ! Мы арестованные большевики.

Человек в котелке пробормотал что-то невнятное, бесчисленные капельки пота, как изморось, покрывали его побагровевшее от напряжения лицо, невидящие глаза безразлично скользнули по сбившимся в углах юнкерам, по солдатам, по мне. Он махнул револьвером и побежал обратно, уступив место обмотанному, как и он, пулеметными лентами матросу.

Глаза мои снова встретились с невидящим взором. Я настойчиво повторил, что мы — арестованные большевики, и это кое-как дошло до сознания опьяненного боем матроса.

— Свои, — внезапно осознал он и сделал неожиданный вывод: — Раз свои, то, стало быть, вооружайтесь!..

Вооружаться было незачем, бой был окончен, юнкера стояли с жалко поднятыми руками, но десять часов, проведенных в ожидании расстрела, не всегда способствуют четкости поступков.

И хотя юнкерские винтовки в избытке валялись рядом на истоптанном паркете актового зала, солдаты, среди которых было немало нестроевых, неожиданно разбили стекла стоявших в галерейке шкафов и жадно потянулись за старинным оружием, хранившимся в них. Кто-то засунул за ремень длинноствольный кремневый пистолет; еще кто-то, повинуясь приказанию матроса, ошалело взялся за тяжелый, покрытый мозаичной чеканкой мушкет.

Подобрав чью-то юнкерскую винтовку и надев на ремень подсумок с патронами, я с удовольствием загнал патрон в казенник и, избавившись, наконец, от постыдного ощущения собственного бессилия, вышел в галерейку.

XII

Не так давно здесь же, у денежного ящика, я стоял в карауле, на навощенном паркете рябью расплывался приставленный к сапогу приклад, в любой момент мимо мог пройти дежурный офицер или даже сам начальник училища, пост этот считался трудным, и его ненавидели юнкера. Теперь мимо него бежали обезумевшие от долгого боя, озверевшие от ненужных жертв и тупого упрямства юнкеров матросы, красногвардейцы и солдаты.

Тяжелые приклады обрушивались на столы, стулья, шкафы, на застекленные рамы учебных витрин, на юнкерские койки. С места, на котором я обосновался, хорошо виден был почти весь этаж; открытые настежь двустворчатые двери в спальни и классы позволяли видеть и то, что делалось в них.

Матросы яростно разрушали все, что было связано с ненавистным «юнкерьем». По коридору пробежал матрос с лакированной немецкой каской на голове. Трофейная каска эта, отыскавшаяся в юнкерском шкафчике, была не нужна лихому балтийцу, но озорство заставило нахлобучить ее на себя. Вот

другой такой же здоровенный матрос сорвал со стены чей-то портрет и, растоптав его тяжелыми сапогами, куда-то исчез.

Меня беспокоило отсутствие Рогачевского и Лебедева, и я начал спускаться по широкой лестнице училища, пытаюсь отыскать пропавших товарищей.

Навстречу мне с улицы валом валили матросы, красногвардейцы, солдаты... Грохот погрома медленно умолкал, в толпе промелькнуло горбоносое лицо Рогачевского, показались сутулые плечи Василия.

Рогачевский нервно размахивал своим комиссарским мандатом, что-то доказывая поднимавшемуся рядом матросу. Обрадовавшись, что наконец-то отыскались затерявшиеся было товарищи, я вмешался в спор, забыв, что на мне юнкерская шинель.

— А ну-ка, отдай винтовку, — сурово сказал матрос, окинув меня подозрительным взглядом.

Я и не подумал подчиниться. Еще бы, отдать оружие, о котором я так настойчиво и безнадежно мечтал, пока находился в плену у мятежников!

Мы спорили, в спор вмешался новый матрос. Винтовку я, наконец, отдал, но оба матроса вдруг уразумели, кто мы, и сразу же превратились в ярых наших защитников.

Это было весьма кстати. Любой из подымавшихся по лестнице солдат или красногвардейцев решал, что мы юнкера, сопровождаемые конвоем, и матросам пришлось отбить не одну атаку.

— Не видите, черти, что ли? — орали они на тех, кто все еще принимал нас за сдавшихся мятежников. — Да ведь это свои, комиссары...

Мы вышли на улицу, не задумываясь над той смертельной опасностью, которой подвергались. Мы были первыми юнкерами, которых увидела скопившаяся на Большой Гребецкой озлобленная многочисленными и напрасными жертвами толпа.

Но, ни о чем этом не думая, мы подошли к русоволосому человеку в мягкой шляпе, распоряжавшемуся взявшими училище войсками, и, сказав, кто мы, попросили дать нам возможность добратся до Смольного, чтобы доложить обо всем.

Человек в фетровой шляпе участливо расспросил нас и, не преминув всячески подчеркнуть свое к нам, сочувствие, пожаловался, что единственный автомобиль, которым он располагает, находится на Большом проспекте.

— Не знаю, право, стоит ли вам идти туда. Может, подождете? — предложил он, озабоченно поглядев на расстилавшуюся перед нами улицу.

Большая Гребецкая имела угрожающий вид, но мы, простившись с русоволосым, в сопровождении все тех же, уже полюбившихся нам матросов двинулись к Большому проспекту.

Оставив вдоль всей Гребецкой широкий проход, тысячная толпа черными шпалерами выстроилась на узких тротуарах, с нехорошим нетерпением ожидая появления захваченных в сдавшемся училище мятежников.

И я и Лебедев были в юнкерских шинелях со срезанными погонами, Рогачевский шел в одной гимнастерке и без фуражки, и вполне понятно, что толпа приняла нас за сдавшихся юнкеров.

Мы шли как бы сквозь строй; с тротуаров понеслись яростные крики:

— Бей их — это юнкера!

Сутулая, сморщенная, но непонятно подвижная старуха вприпрыжку погналась за Рогачевским и, решив, что он главный виновник мятежа, начала тыкать ему в лицо свой высохший кулачок и приговаривать попеременно с проклятиями:

— Эх ты, убийца!

Забытые в училище шинель и фуражка чуть не стоили Рогачевскому жизни. И тщетно он, словно оправдываясь, настойчиво повторял:

— Да какой же я юнкер, я — комиссар, товарищи!

Ему не верили; бородатый солдат, оттеснив матросов, ударил его прикладом куда-то в спину. Рогачевский пошатнулся, но не упал и, выправившись, зашагал снова. Нам пришлось бы худо, если бы в толпе не оказались хорошо уже знавшие нас солдаты из Огнево-химического батальона.

— Товарищи, это наши, комиссары! — закричали они и, выйдя из толпы, вместе с матросами образовали надежную охрану.

Так, окруженные добровольцами из матросов и солдат-«химиков», мы благополучно дошли до Большого проспекта и сели в автомобиль комиссара, руководившего осадой мятежного училища. Кстати сказать, я так и не дознался, кто он был.

В Смольный мы, вопреки нашим чаяниям, не попали: шофер предупредил, что туда не проехать, и свернул к Петропавловской крепости.

Огромный крепостной двор был битком набит озлобленными солдатами. Мы шли, сопровождаемые нашей добровольной охраной, по узенькому проходу, образованному возбужденной толпой, и уже не без ужаса думали: «А вдруг кто-нибудь в толпе решит, что мы мятежные юнкера?»

До кабинета коменданта крепости мы дошли, однако, благополучно, а Благонравов встретил нас и с тронувшей теплотой и немного наивными поздравлениями.

— Мы здесь очень беспокоились о вас. Очень!.. — повторил он и, узнав, что Владимирское училище сдалось, обрадованно сказал: — Поздравляю вас! Теперь вы будете досрочно произведены в офицеры.

Он знал, что мы юнкера, и никак не предполагал, что революция отменит чины. Лет через десять, когда Благонравов был членом коллегии ОГПУ, я, встретившись с ним, шутливо напомнил об обещанном «производстве».

Это был нелегкий для коменданта крепости день. Да и за всю последнюю неделю ему столько досталось, что под конец он на нервной почве оглох.

В Инженерном замке все еще сидел полковник Полковников и постреливали мятежные юнкера и гимназисты. Точных сведений о том, что делается в соседнем с Владимирским Павловском училище, в крепости не было. И, обрадованный тем, что появились новые для него, но уже выдержавшие испытание огнем товарищи, Благонравов поручил нам взять отряд и осадить мятежных «павлонов».

Лебедев присел к столику, на котором чернела пишущая машинка, и начал выстукивать мандаты, подтверждающие новые наши полномочия.

Пока он печатал их, сидевший рядом со мной на узком диванчике огромный матрос, обвешанный, как праздничная елка хлопушками, ручными бутылочными гранатами, прикрепленными даже к пуговицам бушлата, хвастливо рассказывал:

— Револьвер был — бросил. Не оружие. Винтовку взял — бросил. Не оружие. С одними бомбами остался...

Неуемная ярость бушевала в его мятежной душе.

— Попадись мне хоть один из юнкерей, я бы из него такое сделал! — продолжал матрос настолько свирепо, что я невольно подумал о своей юнкерской шинели.

Штурмовать Павловское училище не пришлось. Пока выписывались мандаты, пришло сообщение, что оно занято Красной гвардией. Переключив нас на осаду Инженерного замка, Благонравов собрал в своем тесном кабинетике оперативное совещание.

Неожиданно наше совещание прервал кто-то из комендантских писарей.

— Товарищ комендант, — растерянно доложил он, ворвавшись в кабинет, — в крепость юнкеров привезли, а солдаты возьми и двенадцать человек к стенке поставили...

Оглохший Благонравов не сразу понял, о чем взволнованно говорит писарь.

— Не допущу самосуда! — воскликнул он, поняв, наконец, что происходит на крепостном дворе, и, выхватив револьвер, выскочил из кабинета.

Вслед за ним стремглав побежал и обвешанный ручными гранатами матрос.

Минут через пять и Благонравов и матрос вернулись, и по счастливому виду обоих можно было сразу догадаться, что самосуд не состоялся.

Мы снова взялись за план Питера, но кто-то сообщил, что Полковников бежал и Инженерный замок занят без боя. Сообщение это оказалось верным,

всякая надобность в разработке плана штурма миновала, неимоверная усталость сразу напомнила о себе, и мы покинули крепость.

На крепостных часах было шесть часов вечера, когда впервые за этот долгий день я поглядел на часовые стрелки. Расставаясь, мы условились встретиться на следующий день в училище и затем уже вместе отправиться в Смольный. У каждого из нас были знакомые и родные в городе, мучительно хотелось хоть одну ночь провести в чистой постели, ничего не боясь и ни о чем не думая.

Я поехал к сестре в Усачев переулок. После всего пережитого как-то чудно было сидеть за покрытым свежей скатертью столом и мирно пить чай...

В доме, в котором жила сестра, был лифт. Лифт этот все время настойчиво гудел и трещал, и шум его, чем-то напоминавший недавнюю пулеметную трескотню, казался невыносимым.

С Лебедевым и Рогачевским мы встретились, как было условлено, и, кажется, виделись еще раз другой.

Василий, насколько помнится, говорил, что хочет уехать в действующую армию. Рогачевский как-то рассказал, что секретарь Военно-революционного комитета Гусев предложил ему работать в комитете.

Неожиданно связи наши оборвались. Никто из нас не имел своего постоянного адреса, была пора необыкновенных событий и крутых поворотов судьбы, и, потеряв Лебедева из виду, я до сих пор не знаю, как сложилась в дальнейшем его жизнь.

Совсем недавно, роясь в сохранившихся «делах» Владимирского военного училища, в Центральном государственном историческом архиве, я обнаружил кое-какие следы Лебедева. Датированным 4 декабря 1917 года приказом по Владимирскому военному училищу, в котором под руководством присланного из Смольного комиссара Никонова работала уже ликвидационная комиссия, юнкер 8-й роты Василий Лебедев «в соответствии с указаниями» большевистского комиссара Главного управления военно-учеб-

ных заведений был откомандирован в распоряжение комиссара 2-й армии Западного фронта.

Потерял я и Рогачевского. Но лет через семь после Октябрьского вооруженного восстания уже в Москве, на Арбате, я окликнул хромого человека, спина которого показалась мне очень знакомой. Это был Рогачевский. Через день или два после того, как мы встретились в Смольном в последний раз, он слег в госпиталь и почти на год выбыл из строя. Удар прикладом, которого Рогачевский сгоряча не почувствовал, превратил его в калеку.

Встречаемся мы с ним и поныне. Оба мы уже старики, долгие годы отделяют нас от грозных Октябрьских дней, но начнем вспоминать, и кажется, что мы снова во взбудораженном Питере; узкие с нашитыми в один ряд блестящими пуговицами шинели подпоясаны лакированным ремнем, к поясу прикреплен кожаный чехол с обязательным при пребывании вне училища штыком. Но в верхнем кармане ладной гимнастерки лежит бережно вложенный в красную юнкерскую книжку выданный в Смольном мандат с бланком Военно-революционного комитета; пересаживаясь с трамвая на трамвай, мы спешим на Большую Гребецкую; дует яростный ветер событий, и это от него у нас так горят щеки и такой необыкновенной и заманчивой кажется предстоящая нам жизнь...



НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ФРОНТЕ

I

Я приехал в Астрахань, имея, подобно другим товарищам, посланным на «продовольственный фронт», лишь смутное представление о городе и крае, где нам предстояло работать. Я знал, что Астрахань один из наиболее экзотических городов в России и что сюда не раз заглядывала страшная азиатская холера. Знал также, что вправо от Астрахани в пустынной степи, простиравшейся вплоть до земли Войска Донского, кочуют калмыки; влево же, между Волгой и

Южным Уралом, тянутся сыпучие пески киргизской Букеевской орды *.

Шел август самого необыкновенного года революции: путешествие из Москвы в Астрахань заняло две недели; пока я, то пересаживаясь с поезда на поезд, то на астматически пыхтящем пароходе, переполненном возвращавшимися в Туркестан узбеками, добирался до места своего нового назначения, в Петрограде юнкер-артиллерист Каннегиссер убил Урицкого, а в Москве эсерка, наемница империалистов Фанни Каплан тяжело ранила во дворе завода Михельсона возвращавшегося с митинга Ленина.

Географическая карта молодой Советской республики катастрофически сокращалась; от необъятной не так давно Российской империи осталась лишь неширокая полоса, начинавшаяся на севере, чуть ниже Архангельска, и заканчивавшаяся на двенадцатифутовом рейде, что находится на Каспийском море, в ста с лишним километрах южнее Астрахани.

Но еще задолго до возникновения многочисленных фронтов гражданской войны в стране обозначился «продовольственный фронт»; он объявился едва ли не на второй день после взятия Зимнего — саботирующие чиновники сделали все, чтобы посадить захвативший власть пролетариат на изнурительный голодный паек.

К весне восемнадцатого года продовольственное положение республики обострилось настолько, что Ленин вынужден был поставить вопрос о «крестовом походе» рабочих за хлебом. Тогда же созрела и идея «продовольственной диктатуры».

«Продовольственным диктатором» России был назначен бывший уфимский ссыльный Цюрупа, испытанный ленинец, агроном по образованию и революционер по профессии. На «продовольственный фронт» по настоянию Ленина было брошено все, в распоряжение Наркомата по продовольствию перешла значительная часть вооруженных сил, которыми располагала страна, и ее скудные материальные ресурсы:

* Ныне западный Казахстан.

сверхдефицитный керосин, конфискованные остатки скобяных и мануфактурных товаров, мыло, которого никто больше уже не варил...

Штаб «продовольственного диктатора» — Народный комиссариат по продовольствию — разместился в Верхних торговых рядах, где теперь находится ГУМ.

Кабинет наркома помещался наверху; Цюрупа был уже немолодым, на пятом десятке, измученным человеком с никудышным здоровьем и совершенно развинтившимся сердцем. Вzbираться на третий этаж было ему не под силу, и по личному распоряжению Ленина едва ли не единственный действующий в то время в Москве лифт начал подымать больного наркома. Но себе Владимир Ильич такой роскоши не разрешал и, приезжая к Цюрупе, бесстрашно преодолевал крутую лестницу.

Цюрупа сгорал на работе, и, когда однажды у себя в давно не топленном, сыром, как склеп, кабинете он упал в обморок, вызванный врач резонно решил, что имеет дело с крайним переутомлением. Потерявшего сознание наркома привели в чувство и кое-как перевезли в Кремль, в одном из служебных флигелей которого находилась скромная квартира Цюрупы. И уже там выяснилось, что с «продовольственным диктатором» России случился голодный обморок.

Как ни скромны были продовольственные ресурсы страны, нарком по продовольствию распоряжался эшелонами муки, мяса, масла. Но бывший уфимский ссыльный, подобно Ленину, получавшему в полтора раза меньше, нежели многие сотрудники Совнаркома, и установившему для себя пятисотрублевый оклад, равный среднему месячному заработку рабочего-металлиста, сидел на восьмушке фунта вязкого, как глина, хлеба, выдававшегося не каждый день. Это было то, что получали по карточкам квалифицированные столичные рабочие. Но московский рабочий, зачастую связанный с деревней, да и приспособившийся за последний трудный год к голодному существованию, подкармливался либо сохранившейся с осени картошкой, либо остатками мучицы, вымененной на

барахло. Наконец многие заводы и фабрики уже стояли, свободного времени было в избытке, и умелый мастеровой вытачивал зажигалки, хоть ими спасая себя и свою семью от надвинувшегося голода.

«Продовольственный диктатор» оказался в худшем положении: он сидел на одной восьмушке несъедобного хлеба, и это ни к чему, кроме полного истощения, привести не могло...

Узнав о голодном обмороке наркома, Владимир Ильич написал ему сердитое письмо, в котором настаивал на том, чтобы Цюрупа пошел и отдохнул, и заодно выговаривал своему старому соратнику за недопустимое отношение к казенному имуществу. Под «казенным имуществом» подразумевалось здоровье самого наркома. И впрямь жизнь и здоровье самоотверженного уфимского ссыльного давно уже были достоянием республики...

Катастрофическое положение с продовольствием заставило Центральный Комитет нашей партии мобилизовать на этот труднейший фронт многие свои кадры. С отторжением оккупированной немцами Украины и захватом мятежными чехословаками и белыми Сибири голодные районы Центральной России могли рассчитывать лишь на хлеб и скот низовий Волги и Ставропольщины. В Астрахани имелись и значительные рыбные запасы.

Поэтому в Царицын, являющийся важным узлом железнодорожных и грунтовых дорог, и в Астрахань, где имелись отличные холодильники и куда вели грунтовые дороги из Ставрополя, были посланы чрезвычайные уполномоченные Советского правительства, наделенные всеми правами для изъятия и отправки на север излишков продовольствия.

В Царицын в качестве такого уполномоченного приехал нарком по делам национальностей Сталин; в Астрахань был назначен старый большевик Бабкин, бывший участник исторического восстания на броненосце «Потемкин».

И в распоряжение Сталина и в помощь Бабкину Народный комиссариат по продовольствию направил на юг немало сотрудников, и в Астрахани я сразу же

встретился с несколькими товарищами, с которыми работал еще в первые месяцы после Октября.

Уполномоченным Наркомпрода по заготовке скота и заведующим Мясным отделом Астраханского губисполкома был некий Богорад, называвший себя левым эсером. Каким образом попал Богорад в Наркомпрод было неясно. Специалистом по мясному делу он никогда не был, и удивляло, почему столь ответственная должность замещена случайным человеком.

Отыскался среди приехавших из «центра» товарищей и человек, с которым я в Питере крепко сдружился. Это был спокойный и на редкость рассудительный Денисов, один из руководящих работников того же Наркомата торговли и промышленности, где всю минувшую зиму работал и я. Сын тверского крестьянина, промышлявшего в столице извозом, Денисов в результате упорного самообразования начал перед революцией «выходить в люди» — перешел с физического труда на мелкую конторскую работу и поступил на железную дорогу. Летом семнадцатого года он вступил в большевистскую партию и после Октября показал себя недюжинным организатором. В партийной организации наркомата, или фракции, как она тогда называлась, он был председателем, я же был избран товарищем председателя, то есть, по-нынешнему, его заместителем.

Денисов был кем-то вроде помощника у Богорада, и он настоял на том, чтобы мы снова начали работать вместе.

С согласия Бабкина Богорад решил командировать меня в Элисту.

В Калмыцкой степи, наиболее богатой скотом, ничего не выходило из ведущихся там Астраханским губпродкомом заготовок.

— Имейте в виду, — предупредил меня Богорад, — в степи открытый фронт с белыми, и я не верю, что там можно наладить заготовки скота. Покамест мы почти ничего не получаем от посланных туда агентов.

У Богорада были сросшиеся густые, в палец шириной брови и выпученные глаза базедовика.

— Да, да, — повторил он, — в степи открытый

фронт, и ни крестьяне, ни калмыки сдавать скот не хотят.

Заготовка скота агентами Наркомпрода производилась на началах свободной закупки скота. Чтобы заинтересовать скотоводов, агенты за приобретенный ими скот расплачивались не «керенками», а «царскими» деньгами — в тот год еще все эти деньги имели хождение, но «керенки» ценились ниже. Получив дореволюционной окраски и гравировки кредитный билет, скотовод охотно приравнивал его к золоту.

— Ну что ж, попробую, — сказал я.

Вместе с Богорадом я отправился к Бабкину и получил подписанный чрезвычайным уполномоченным Совнаркома пространный мандат, представлявший мне почти неограниченные права в неведомой Калмыцкой степи.

Сборы были недолги. В Мясном отделе мне выдали под отчет два миллиона рублей царскими денежными знаками, больше синими дореволюционными пятерками и розовыми десятками. Денег набралось порядочно, и, отправившись на Малые Исады — немолчно гудящий, по-восточному пестрый, кишачий перекупщиками, жуликами и мешочниками рынок, я купил обитый цветной жестью ларец.

Положив набитый до отказа деньгами плохо закрывающийся ларец и свой выдавший виды брезентовый саквояж в кузов полутонного «фиата», я в сопровождении вновь принятого агента Рафаловича и двух прикомандированных ко мне матросов из военно-продовольственного отряда выехал в степь.

Находившиеся в Элисте агенты Мясного отдела переходили в мое подчинение.

II

Кто-то из астраханцев надоумил нас захватить с собой десяток арбузов, которыми была завалена вся Астрахань. Чудесные арбузы эти не раз выручали нас в долгом пути через безводную степь. Вода в редких калмыцких кибитках оказывалась солоноватой и

прогорклой; гостеприимный калмык наливал ее в деревянную чашку, никогда не мывшуюся; на стенках и дне такой чашки серел прочный, как полуда, слой застарелого, давно протухшего жира, и пить из нее воду было почти невозможно.

И все же после утомительной степной дороги мы охотно пили горячий, крепко посоленный и сдобренный маслом калмыцкий чай и ели мутный, похожий цветом на кумыс шилюн, крепчайший калмыцкий суп, — чтоб получить его, кочевники варят в котле целого барана.

Калмыцкие кочевья пошли не сразу. Мы миновали село Николаевку, оставили позади себя Яндыки, где еще недавно была ставка Яндыко-Мочажного улуса, и оказались среди песчаных барханов, как здесь называют огромные беловато-желтоватые дюны.

«Фиат» как будто шел без дорог, в степи куда ни глянь — готовая дорога, и лишь позже я узнал, что уже не раз бывавший в степи шофер-астраханец все же вел машину по древнему Крымскому, или в о-ровском у, тракту.

Порой на горизонте возникали степные миражи; нужен был некоторый опыт для того, чтобы не принять синеватое марево за далекое селение. Но такими же призрачными казались и одинокие, давно заброшенные почтовые станции — два-три сборных деревянных домика, привезенных издалека, и несколько кибиток поодаль.

В Харахусах, бывшей улусной ставке, мы остановились в брошенном владельцем доме. Улусный врач бежал настолько поспешно, что все в комнатах, кроме носильных вещей и постелей, осталось таким, каким было, и лишь покрылось густым слоем степной пыли. В запыленном до белизны буфете я даже обнаружил початый флакон пряной «сои кабуль»; на гра-неном стекле зеленела нарядная этикетка с головой круторогого быка и витиеватой английской надписью.

Шофер отыскал в одинокой кибитке оборванного калмыка.

— Манжа, давай махан! — приказал шофер.

Калмык покорно побежал резать барана, и я впервые столкнулся с неведомо кем установленным в степи «революционным» законом, — кочевники обязаны были бесплатно кормить любого из проезжавших, если у него за плечами торчало дуло выдавшей виды солдатской винтовки.

«Манжа», являвшееся исковерканным калмыцким словом «манчжик»*, почему-то приобрело в устах кое-кого из приезжих заведомо обидный характер и употреблялось при обращении к кочевникам как наилучший способ выразить им свое презрение. Антагонизм между астраханскими крестьянами и даже горожанами и простодушными калмыками, преимущественно не успевшей и не желавшей бежать к белым на Дон беднотой, принял чудовищные размеры.

Слово «махан» на обширном жаргоне обозначало не столько мясо, сколько барана — одного из тех, которые теперь с непонятным терпением приносились калмыками в жертву всемогущему богу гражданской войны, внезапно разразившейся в сонной еще недавно степи.

Пригнанный из-за бархана баран был прирезан, и, пока мы устраивались на ночлег, калмык принес оцинкованный таз с дымящимся мясом.

За Харахусами степь заметно изменилась: исчезли барханы, пошла поросшая рыжеватой травой равнина, все чаще через дорогу каталось перекати-поле, чудное растение, оставлявшее на песке подвижную тень куда-то торопившегося зверька...

Мы проехали Яшкуль, небольшое и пыльное селение, бывшую ставку Икицохуровского улуса, и оказались в Ергенях**. Река Яшкуль, по имени которой и названо селение, настолько пересохла, что почти невозможно было обнаружить признаки ее существования.

Уже за Яшкулем мы впервые увидели огромную скифскую бабу. Высеченная из привезенной из-

* Манчжик — ученик в буддийском храме.

** Западная, холмистая часть Калмыцкой степи.

далека гранитной глыбы неуклюжая фигура высилась над притихшей степью; на гигантском лице застыла странная улыбка, показавшаяся насмешливой, — какими жалкими казались мы этому навсегда окаменевшему скифу!

К концу второго дня пути вдали показались деревья, ошибочно принятые нами за привычный уже степной мираж. Дорога спустилась в балку, и мы въехали в Элисту. Элистинская волость только что была переименована в уезд с территорией, намного превышающей иное, не такое уж карликовое европейское государство, а пыльное степное село — в город и центр этого нового уезда.

Слева и справа потянулись мазанки с выбеленными стенами и веселыми наличниками над окнами. Но мы не успели проехать и части широкой, окаймленной бахчами улицы, как несколько вооруженных людей в солдатской одежде и картузах без кокард окружили затормозившую машину.

— Давай слазь! — грубо приказал кто-то из них.

У всех у нас были винтовки, к поясному ремню моему была подвешена кобура с браунингом, но куда более надежной охраной являлся мой пространный мандат, подкрепленный двумя матросскими бескозырками.

Я послал нахального солдата так далеко, как позволял это сделать многообразный русский язык. Завязалась перебранка, и, пока мы препирались, около машины возник перетянутый скрипучими ремнями новенькой офицерской портупеи молодой человек, с ног до головы одетый в ослепительно красный сафьян. Куртка, широченные галифе, щегольские сапоги и даже офицерского покроя фуражка его были пошиты из ярко-пунцовой кожи.

— Я Пастушков, — сказал молодой человек таким тоном, словно неказистая фамилия эта была известна миру не меньше, нежели Бонапарт или Тамерлан.

На меня, однако, фамилия эта не произвела впечатления, как не подействовало и то, что Пастушков

оказался военным руководителем местного военного комиссариата.

Мало-помалу разговор наш принял мирный характер, и я выяснил, что Пастушкова и его красногвардейцев заставило наскочить на нашу машину действительно чрезвычайное обстоятельство: несколько часов назад из Элисты бежал арестованный накануне проходимец.

Приехавший из Царицына с подложным мандатом в Элистинский военный комиссариат, проходимец этот недели две терроризировал уезд. Вчера из Царицына пришла телеграмма, разоблачающая самозванца. Его арестовали. Он просидел ночь, но утром забрался в автомобиль, на котором приехал из Царицына, и на глазах у растерявшегося часового выехал на улицу. Автомобиль шел на одних ободах, но почти весь гарнизон города лежал, пораженный испанкой, и пока в военкомате собрались задержать беглеца, его и след простыл.

Пастушков организовал запоздалую погоню. Из конюшен государственного коннозаводства были выведены кровные, стойвшие огромных денег жеребцы, и началась бешеная безрезультатная скачка; погоня вернулась ни с чем, а два лучших производителя не то арабских, не то английских кровей, давшие не одно поколение улучшенного калмыцкого коня, пали, загнанные неумелыми всадниками.

Теперь Пастушков настаивал на том, чтобы я дал ему свой «фиат».

— Мы вам вернем машину, честное слово, — поклялся он, и по тону, которым он это говорил, я понял, что никогда больше не увижу своего автомобиля.

Бензина было в обрез, едва-едва хватило бы на обратную дорогу, достать его в степи было невозможно, и если бы я поверил честному слову военрука, он все равно оставил бы нас без столь необходимой машины.

Но было еще одно соображение, заставившее меня наотрез отказать Пастушкову: уступить ему —

значило бы показать свою слабость. А этого нельзя было делать.

Разругавшись поначалу с Пастушковым, я вскоре вразумил его. Узнав, где стоит на постое агент Мясного отдела Сукман, я отыскал нужный дом.

Эстонец Сукман, в прошлом землемер, оказался очень старательным, но слишком тихим человеком. В хате, в которой он жил, свирепствующая в Элисте испанка оставила уже жестокие следы; сам Сукман только начал оправляться от болезни; за тонкой перегородкой пронзительно голосили женщины — за несколько часов до моего приезда скоропостижно скончалась хозяйская сноха.

Испанка, напоминавшая безобидную инфлюэнцу, в степи появилась впервые и сразу же приняла характер поваральной и смертельной болезни. В Элисте она хозяйничала с месяц и не пощадила ни одного дома.

Мне отвели койку, с которой только-только сняли оплакиваемую в соседней комнате покойницу, но я был утомлен длинной дорогой и не мог заставить себя искать другой кров. К тому же недолгие сумерки кончились, и давно сидящая без керосина Элиста погружилась в кромешную тьму.

III

На следующий день я познакомился еще с одним агентом Мясного отдела, бывшим штабс-капитаном Календро.

Шут его знает, что заставляло Мясной отдел направлять в степь для закупки скота случайных и совершенно непригодных для этой цели людей. Брат Календро занимал в Астрахани ответственную должность, и, вероятно, это и определило судьбу бывшего штабс-капитана.

У меня на руках находились огромные по тому времени денежные суммы, на которые по ценам, установившимся вскоре в степи, можно было купить тысяч шестьдесят овец. Даже в переводе на золото это была чрезвычайно крупная сумма. Ходить с тя-

желым ларцем по селу я, конечно, не мог; передоверить деньги кому-либо из не очень надежных агентов Мясного отдела не хотел, а уж отнести их кулакам, сидевшим в местном Совете, я и подавно не решался. И такова была беспечность молодости, что привезенный с собой ларец с деньгами я на следующее же утро после своего приезда в Элисту отдал своей квартирной хозяйке.

— Ты спрячь его, — попросил я, — куда-нибудь понадежнее. Хоть в сундук к себе, что ли.

Хозяйка, немолодая уже крестьянка, с иссушенным степным зноем лицом, бережно приняла в свои натруженные тяжелой работой, огрубевшие руки ларец с деньгами и старательно спрятала его под многочисленные «спидницы» и «хустки», сложенные в окованном медью огромном сундуке.

Я не взял у хозяйки расписки, старуха, как и большинство населения этого переименованного в город степного села, была неграмотна. Но она не обманула моего доверия.

Разделавшись с ларцем, я поспешил на «базы». Шла приемка скота. И быки и овцы загонялись на огромные весы, взвешивались и тут же клеймились.

Скот принимал Сукман. Запыленный до ресниц, он с обычной флегмой распоряжался суетившимися около весов калмыками. Никто этим деятельно орудующим на приемном пункте кочевникам никогда не платил, как-то само собой получалось, что они постоянно толпились около весов, загоняли непокорных быков в специальные стойла, клеймили их и отгоняли от весов да заодно выполняли всякую иную сподручную работу. Некоторые из них нанимались в погонщики и сопровождали гурты в Астрахань, другие внезапно исчезали, но тотчас же на их месте оказывались новые, такие же услужливые, ничего не получающие за тяжелый труд и покорно сносящие насмешки и брань владельцев пригнанного скота.

— Почему так плохо идет закупка? — спросил я Сукмана после того, как освоил нехитрую механику взвешивания и клеймения закупленного скота.

— Если Совет не будет разрешать продавать, то здесь всегда будет так мало скота, — не сразу ответил агент. По-русски он говорил плохо, и, так как не выговаривал некоторых звонких согласных, то «будет» у него звучало как «путет»; вместо «баран» слышалось «паран», и даже быки, гурты которых пригонялись в Элисту, превращались в его устах в «пыков».

Сослался на недоброжелательное отношение Элистинского исполкома и Календро.

Побывав в исполкоме, я выяснил, что и элистинские власти и Астраханский калмыцкий исполнительный комитет, руководствуясь самыми различными соображениями, мешают чем могут развертыванию заготовок скота. Калмыцкий исполком, в котором верховодили тайные сторонники контрреволюционной знати, выполнял их волю и задания; элистинские же власти, в сущности никем не избранные, а возникшие самочинно на месте волостного Совета, были заражены еще больше, чем астраханские, «местничеством» и не только не считались, но и не собирались думать об интересах какого-то там «центра».

Только спустя некоторое время я смог, наконец, относительно отчетливо представить себе то сложное политическое положение, которое сложилось в Калмыцкой степи к началу осени восемнадцатого года.

Февральская революция не принесла калмыцкому народу долгожданного освобождения. На созванном в Астрахани съезде «представителей» был избран Центральный комитет по управлению калмыцким народом, в который вошли бывшие попечители, нойоны и зайсанги — феодальная знать.

Летом семнадцатого года был созван второй съезд «представителей»; одновременно с ним съехалось и ламаитское духовенство. На объединенном заседании обоих съездов было вынесено решение о причислении калмыков к казачьему сословию.

Калмыцкий князь Тундутов, которого даже Деникин в своих мемуарах называл авантюристом и темным дельцом, встал во главе белых калмыцких формирований и еще в восемнадцатом году ухитрил-

ся съездить в Берлин и получить аудиенцию у императора Вильгельма. Он открыто придерживался немецкой ориентации и действовал в союзе с таким же авантюристом и немецким агентом генералом Красновым. Влиял он и на избранный на Всекалмыцком съезде исполком, и отсюда и шло то противодействие заготовкам скота в Калмыкии, с которым столкнулись агенты Мясного отдела.

Захватив с собой матросов, рослых балтийцев, обвешанных традиционными ручными гранатами, я недвусмысленно пригрозил исполкомщикам подвалом астраханской Чека. Хитрые мужики-переселенцы, засевшие в исполкоме, решили, что со мной лучше не ссориться.

Занялся я и агентами, равнодушием и нерадивостью которых тоже в немалой степени объяснялся срыв заготовок. От тихого Сукмана и угрюмого Календро я потребовал настоящей работы. Об этом же был предупрежден и агент Рафалович, бывший студент Петербургского психоневрологического института.

Наладить прекратившиеся было заготовки оказалось легче, чем можно было предполагать. Лето было на редкость жарким и сухим; степные травы — зимний подножный корм скоту, сплошь выгорели. Начавшаяся на Кавказе гражданская война препятствовала перегону скота на зимние пастбища — на так называемые Черные земли, расположенные к югу от старого Крымского тракта. Наконец и переселенцы из таких богатых, расположенных на границе области Войска Донского сел, как Ремонтное, Дивное, Приютное, и не успевшие сбежать к белым зайсанги были встревожены слухами о предстоящей «социализации» скота, которую почему-то представляли как полную его конфискацию у всех крестьян.

Утвержденные Наркомпродом закупочные цены неожиданно оказались выше рыночных. Царские кредитки были в степи в цене, желающих продать скот было множество, Советы пограничных сел и тяготеющих к Элисте улусов и аймаков открытого противодействия заготовкам скота больше не оказывали, и

очень скоро около «базов» образовалась форменная ярмарка.

Весы были одни, агенты уже не успевали взвешивать скот. Для того чтобы сдать гурт скота или отару овец, приходилось неделями ждать, и, руководствуясь здравым смыслом и интересами революции, которой как воздух нужно было мясо для голодающих столиц и рабочих районов, я на свой страх и риск отказался от взвешивания покупаемых овец, а затем перешел к такой же приемке и крупного рогатого скота. Новый порядок настолько упростил процедуру приемки скота, что агент, прежде затрачивавший целый день на взвешивание небольшой отары, в несколько часов справлялся теперь с тысячами пригнанных в Элисту овец.

За короткий срок кривая заготовок резко скакнула вверх, и через степь сплошным потоком потянулся закупленный скот.

Привезенные деньги быстро кончились, хотя Богорад полагал, что мне их хватит до зимы. Я не стал медлить и собрался в Астрахань.

В это время в Элисте собрался Чрезвычайный уездный съезд Советов, и основным, вызвавшим наибольшие дебаты вопросом оказалось положение на так называемом Астра-Ставрополь-Донском фронте.

Этот своеобразный фронт возник сам собой. Вернувшиеся с войны казаки вспомнили о старых счетах с соседями-переселенцами. Полузабытые споры из-за пастбищ, угнанных косяков, чужой копны сена, нечаянной потравы посева неожиданно приобрели политический характер. Попавшие под влияние Краснова, а затем и слетевшихся на Дон вожаков «белого движения» Корнилова, Алексеева, Деникина и других генералов, казаки — участники корниловского мятежа и контрреволюционного похода на Питер, оказавшись в родных станицах, поспешно объявили себя «кадетами». Почему-то слово это, обозначавшее воспитанника кадетского корпуса, стало в годы гражданской войны синонимом слов: «белый» и «контрреволюционер» и широко вошло в быт именно в этом значении, хотя и принято думать, что в основу этого

прозвища вошло сокращенное название партии конституционных демократов (кадеты).

Бросившие же фронт империалистической войны сыновья переселенцев уходили домой с оружием в руках, — в степи оказались не только винтовки, но и припрятанные до поры до времени пулеметы.

Вскоре недавние фронтовики отрыли на околице родных сел и поселков привычные окопы, а казаки начали совершать лихие кавалерийские набеги на тех, с кем до революции сталкивались лишь в пьяных драках у казенной винной лавки.

Самым непостижимым было то, что противниками оказались одинаково богатые, безжалостно эксплуатирующие бедноту кулаки с той только разницей, что называвшие себя «кадетами» казаки выжимали последний пот из иногородних, а богатеи-переселенцы годами наживались на бесплатном труде калмыцкой бедноты — «байгуш», или «убогих», как назывались в степи кочевники, почему-либо лишившиеся скота.

Дравшиеся друг с другом «кадеты» и «фронтовики» были бы полными единомышленниками, если бы не давние ссоры из-за неясных границ и взаимных претензий на пастбища и угодья.

Обе воюющие стороны не имели особых завоевательных намерений. Казаки, как правило, не проникали за существующую только в воображении линию пограничных сел; фронтовики сидели в обороне, хотя при открытом фронте могли бы без труда углубиться в Донскую область.

Свою пассивность фронтовики объяснили на Чрезвычайном уездном съезде Советов лишь тем, что лишены артиллерии. Будь у них пушки, они бы давно отогнали кадетов за Дон. Об этом без усталости говорили все, и когда кто-то из делегатов предложил поручить мне, как представителю «центра», договориться с астраханскими военными властями о помощи фронту оружием, боеприпасами и пушками, съезд дружно проголосовал за это предложение.

Отказываться от почетной миссии, возложенной на меня, я не стал. Классовая подоплека того, что происходит на Астра-Ставрополь-Донском фронте,

хотя он и проходил верстах в сорока от Элисты, была мне еще не ясна.

Писаря военкомата засели за составление требовательных ведомостей; Пастушков от имени фронта испрашивал что-то вроде десяти тысяч винтовок и полусотни орудий. Все это добро с добавлением такого же головокружительного количества патронов и снарядов съезд и военкомат уполномочивали меня получить от Военного совета Кавказско-Каспийского фронта.

Военный совет, в который входили уже популярные в Астрахани старые большевики Анисимов и Кузнецов, помещался в древнем астраханском кремле, или в Крепости, как его издавна называли в городе. Обещав Чрезвычайному съезду, что сделаю все, чтобы выполнить его поручение, я бережно спрятал в полевую сумку заготовленные писарями ведомости и на том же скрипящем и пыхтящем «фиа-те» двинулся в степь.

IV

Анисимова в городе я не застал. В Крепости меня принял Кузнецов, и я навсегда запомнил и необычную обстановку, в которую попал, и заслуженное нравоучение, прочитанное мне членом Военного совета.

Кузнецов почему-то был одет в черную визитку, никак не гармонировавшую ни со сводчатой крепостной комнатой, ни с цинковым ящиком от патронов, стоявшим на каменном полу, ни с краюхой черного хлеба, от которой он с жадностью давно не наедавшегося досыта человека отщипывал куски и торопливо проглатывал.

Внимательно выслушав меня и тщательно ознакомившись с привезенными мною требовательными ведомостями, Кузнецов перестал жевать и, перейдя на товарищеское «ты», начал жестоко меня отчитывать.

— Да ты в своем уме или нет? — нисколько не считаясь с моим самолюбием, говорил он. — Кого же это ты решил вооружить и с какой целью? Фронт

под Ремонтным держат кулацкие сынки, ни рабочих, ни бедноты в твоей Элисте и днем с огнем не найдешь.

— Она не моя... — обиженно открестился я от Элисты.

— Но и не наша, — возразил Кузнецов, — и в этом вся суть. Выполни мы твои требования, дай в Элисту все то, чего здесь требуют, — пренебрежительно ткнул он в лежащие на столе ведомости, — мы только создадим резервы для Краснова или того же Деникина, уже входящего в силу...

Он долго отчитывал меня; я чувствовал себя совершенным дураком и только и мог делать, что угрюмо молчать.

— Немного винтовок я им все-таки подкину, — неожиданно смягчился Кузнецов, — в конце концов это ничего не изменит. А фронт они пока держат...

Но если встреча с членом Военного совета мне ничего, кроме конфуза, не принесла, то в продолжительном и резком разговоре, который я в тот же день имел с Богорадом, роли наши переменились: и логика и правда были на моей стороне, уполномоченный же Наркомпрода еще раз показал себя человеком, лишенным сколько-нибудь правильной политической ориентации и очень плохо представляющим себе сложившуюся в степи сложную ситуацию.

К неприятному разговору Богорад был подготовлен, еще из Элисты я послал с нарочным докладную записку, в которой сообщал, что, отказавшись от взвешивания мелкого скота, фактически значительно снижаю заготовительные цены Наркомпрода.

Непрерывное падение курса рубля было наиболее ярким показателем давно, еще задолго до революции, поразившей страну обусловленной войной разрухи.

Я был достаточно грамотен, чтобы понимать, что бессилён хоть сколько-нибудь задержать непрекращающееся обесценение рубля. Но я видел, как пришедшая к власти большевистская партия и сам Владимир Ильич Ленин в первые месяцы существования советской власти непрерывно и неустанно

ставили вопрос о хозяйском отношении к тем гигантским ценностям, которые с революцией перешли к народу. Необходимость хозяйского отношения к материальным и денежным средствам, которые по той или иной надобности поручались мне, была мне ясна. Хозяйское же отношение к заготовкам требовало прежде всего бережливого расходования отпущенных для этой цели денег.

Между тем убедить Богорада в разумности и необходимости иной системы закупки скота было труднее трудного.

— У вас ничего не выйдет, — настаивал Богорад. — Никто не станет вам сдавать скот по таким низким ценам, — упорствовал он, несмотря на то, что уже с десятков отар были закуплены в Элисте по ценам, кажущимся ему неправдоподобными.

Скептически отнесся Богорад и к тому заманчивому плану, ради которого я и приехал на этот раз в Астрахань. Я предполагал до наступления зимы, с приходом которой заготовки волей-неволей пришлось бы прекратить, ибо скот из степи в Астрахань можно было направлять только гоном, закупить не менее ста тысяч голов скота.

И уж совершенно недоверчиво встретил он третье мое предложение — перенести скотоприемные пункты из Элисты в Улан-Эрге, небольшой поселок, находящийся ближе к Астрахани верст на сорок.

От Элисты до Астрахани — вернее до расположенного в семи верстах от нее Калмыцкого базара *, в котором шла сдача пригнанных из степи гуртов, — было около трехсот верст. Гнать скот по почти безводной степи, безошибочно пригоняя его к затерянному в песках х у д у к у, или к о п а н и, как здесь называли редкие степные колодцы, было трудным делом. В пути скот терял в весе; любой же хозяин мог прогнать свой скот с наименьшими потерями.

В спор наш был втянут Бабкин. Кажущийся несколько флегматичным, высоченный, с коротко остри-

* Заселенный калмыками, татарами и армянами поселок на правом берегу Волги.

женной головой чрезвычайный уполномоченный Совнаркома, несмотря на свое особое в крае положение и высокие полномочия, держался так просто, словно до сих пор был рядовым матросом героического «Потемкина». Найти с ним общий язык оказалось куда легче, нежели с делающим карьеру бывшим приказчиком лесного склада. Бабкин поддержал меня, и широкие планы, казавшиеся уполномоченному Наркомпрода и сотрудникам Мясного отдела невыполнимыми, были утверждены.

Из находящегося в его распоряжении военно-продовольственного отряда Бабкин выделил мне двадцать лихих матросов при пулемете — сила, показавшаяся мне вполне достаточной для того, чтобы обезопасить приемный пункт от возможного налета белых казаков и держать в должном страхе «самостийников» из элистинских военных и гражданских властей.

Подкупленный тем размахом, с которым начали разворачиваться заготовки в Калмыцкой степи, чрезвычайный уполномоченный дал мне легковую машину. Подчиняясь воле Бабкина, Богорад перестал спорить со мной, приказал выдать мне два миллиона рублей царскими денежными знаками и откомандировал в степь еще одного агента — Бориса Левина, сделавшегося после гражданской войны довольно известным советским писателем и героически погибшего на войне с белофиннами.

Назначенный в мое распоряжение отряд матросов под командой бывалого моряка Панферова я отправил в степь, условившись встретиться с ним в Яшкуле. А дня через два, поздно вечером, мы с Борисом, которого я знал еще гимназистом, и присланным из отряда пулеметчиком погрузили в автомобиль вороненый, очень изящный на своей стальной треноге пулемет «кольта» и неизменный ларец, туго набитый новыми двумя миллионами, и выехали из Астрахани.

Я всегда любил выезжать в ночь. Есть особая, ни с чем не сравнимая прелесть в езде по безлюдным ночным дорогам; в настороженной тишине поскрипы-

вают колеса надежного тарантаса, с которым ты давно не расстаешься; пофыркивают едва различимые в темноте лошади, мягко шлепают копыта, изредка, задев за случайный булыжник, высечет искру тяжелая подкова. Выросший у дороги худосочный лесок кажется в сгустившейся мгле вековым бором; ты только угадываешь спину прикорнувшего на облучке возницы, тебе тоже дремлет, и сквозь сладкую дрему ты вдруг видишь дорогие, давно переставшие существовать лица и явственно слышишь голоса, которых уже никто не услышит.

Современный читатель не представляет себе ни езды на перекладных, ни почтовых станций, на которых меняют притомившихся лошадей, ни очарования российских проселков...

И все-таки первый предоставленный мне легковой «рено» с деревянными спицами высоких колес и рычагами скоростей, вынесенными за борт, несказанно радовал меня, и я не подозревал о всех тех каверзах, которые готовила мне эта коварная машина.

В баке автомобиля не оказалось бензина. В Астрахани можно было раздобыть керосин, отыскать газолин и нашатырный спирт, были еще какие-то жидкости, способные гореть, но ни одного золотника бензина достать было невозможно, и в пору уже было подумать: не пора ли сменить такой эффектный внешне сорокасильный «рено» на запряженную верблюдом или лошадьми ставропольскую линейку?

— Вы бы, товарищ уполномоченный, эфиру добыли, — неожиданно предложил шофер и пояснил, что, смешав его с керосином, он рассчитывает получить смесь, пригодную погнать «рено» по Крымскому тракту.

Раздобыть эфир, да еще в том огромном количестве, которого требовал шофер, оказалось нелегким делом. Я обшарил все астраханские аптеки, пока, наконец, где-то на Царевке геморроидальный аптекарь, напуганный моим свирепым видом и кобурой, висевшей на поясе, безропотно отдал мне двухпудовую, оплетенную тростником бутыл с эфиром. Шофер

завел мотор, и «рено» с грохотом и шумом покати́л по дурно мощенным улицам города.

Преодолев на пароме все еще широкую, несмотря на осень, Волгу, мы миновали заселенный бондарями форпост и выехали в степь.

Почти сразу же пошли барханы; озаренные лунным светом, они напоминали кратеры погасших вулканов; степь казалась необычной, как марсианский пейзаж. Но едва мы одолели три или четыре версты, как мотор внезапно заглох и шофер, загремев добытой из-под сиденья ручкой, завозился у машины.

Он пробовал завести мотор, но ручка соскакивала. Попытки эти делались не один раз, и, наконец, то ли отчаявшись, то ли решив навсегда отворратить меня от езды на автомобиле, шофер свирепо выругался и мрачно предложил на руках втащить тяжелую машину на ближайший бархан и, разогнав, попытаться завести мотор с ходу.

Автомобиль обладал, как оказалось, совершенно непостижимым весом, вчетвером мы с огромным трудом вкатывали его на песчаный бугор и гнали вниз с возможной для нас скоростью.

После двух или трех попыток мотор, наконец, завелся, автомобиль снова покати́л по пескам, но, едва одолев версту, остановился, и опять началась ка-торга.

Мы слезали, и все повторялось с самого начала. На свое несчастье я заболел, едва отъехав от Астрахани. До сих пор не пойму, что было со мной в ту ослепительно яркую, озаренную полной луной ночь: то ли я отравился, то ли начиналась похожая на дизентерию болезнь. Я корчился от сильнейшей боли, рези в животе заставляли меня лишь с огромным трудом удерживаться от того, чтобы не завопить истошным голосом; мне никогда не бывало так худо, но положение обязывало, и вместе с шофером, Борисом и пулеметчиком я втаскивал на ближайший бархан ненавистную уже машину и снова пытался вдохнуть жизнь в безнадежно молчавший мотор.

Только к полудню следующего дня мы въехали в Николаевку, расположенную всего в двадцати вер-

стах от Астрахани. Выбравшись из автомобиля, я едва добрал до ближайшей хаты и замертво свалился на свободную лавку.

Я мучился весь день и всю ночь; ни врача, ни фельдшера в селе не нашлось, помочь мне было некому, но молодость и здоровый организм взяли свое, — наутро второго дня я почувствовал себя лучше и тотчас же приказал позвать ко мне шофера.

— Ну как, — спросил я, — наладил мотор?

— Какое там! — безнадежно ответил тот. — Разве его справишь? Только в Астрахани.

— Что ж все-таки случилось с мотором? — попытался узнать я.

— Магнето сломалось, — отрезал шофер, и я понял, что с автомобилем, с которым еще несколько дней назад было связано столько надежд, произошло непоправимое несчастье. Автомобильный мотор был для меня полной загадкой.

— Я скажу в Совете, чтобы тебе дали верблюдов отправить машину в Астрахань, — наивно предложил я.

— Да вы не беспокойтесь, товарищ уполномоченный, — поспешно сказал шофер, — вы уж лучше о себе подумайте, то-ись в рассуждение, как добратся до Элисты, или куда вам в другое место требуется, а на меня ноль внимания обращайтесь. Сам я, товарищ уполномоченный, верблюдов от Совета требую. Я уж поднаторел с этим народом разговаривать...

Он без труда уговорил меня и, пользуясь предоставленным мне правом мобилизации и реквизиции любого транспорта в Калмыцкой степи, я вызвал к себе председателя Совета, расторопного и хитрющего мужика из местных богатеев, и приказал ему нарядить две тройки.

— Сей момент будет сполнено, товарищ комиссар, — с излишней готовностью сказал председатель.

Подобострастие председателя неприятно резануло меня. Но в Яшкуле меня ждали матросы, мне важно было выгадать время любой ценой; вместе с возницей нас было бы четверо, требовал места и пулемет,

и волей-неволей я вынужден был не ограничиваться обычной парой почтовой упряжки.

Не прошло и получаса, как две лихие тройки стояли уже у крыльца. На козлах сидели калмыки-работники — редкое «крепкое» хозяйство в степных селах обходилось без чудовищной эксплуатации злополучных «байгуш», за пару сапог и несколько плиток кирпичного чая в год нанимавшихся в батраки к мужикам-переселенцам.

Мы разместились на двух ставропольских линейках, легких, но прочных, на железном ходу, отлично приспособленных к степным дорогам; я сел рядом с «кольтом» на одной, Борис с захваченной из автомобиля бутылкой с эфиром и пулеметчик устроились на другой, калмыки оглушительно гикнули, застоявшиеся лошади рванули и понесли.

Покидая Николаевку, я и не предполагал, что являюсь жертвой самого беззастенчивого обмана. Едва наши тройки оставили село и улеглась поднятая ими пыль, как жаловавшийся на «сломанное магнето» шофер прошел к автомобилю. Проклятая ручка больше не соскакивала, мотор сразу завелся, и, издевательски помахав ручкой вслед исчезнувшим уже за призрачным горизонтом тройкам, шофер уверенно повел послушную машину обратно в Астрахань. Он ехал не один, — в обитом кожей «каросери», как на языке автомобилистов того времени назывался кузов, невозмутимо восседал не кто иной, как знакомый уже читателю Рафалович.

Пока я, корчась от боли, отлеживался в случайной хате, сбежавший из Элисты агент прятался на чьем-то сеновале, больше всего боясь, как бы его не обнаружили и не вернули в степь.

Верстах в полтораста от Астрахани меня ждало новое огорчение — заболел пулеметчик, и его пришлось отправить обратно в Астрахань. Оказался неисправным и захваченный из Астрахани пулемет. В нем отсутствовала какая-то мелкая деталь, и мы так и не смогли его исправить.

Будь я суеверен, я решил бы, что меня преследует рок. Едва мы расстались с пулеметчиком, как нас

постигла новая неприятность. Из-за бархана появился облезший верблюд, впряженный в расшатанную калмыцкую арбу. За возницей-калмычком сидела понурая фигура, с головой укрытая от пыли какой-то ветошью. Но что-то в безликой, согнувшейся в три погибели фигуре этой показалось мне знакомым, и, повинувшись неожиданному наитию, я соскочил на землю и повелительно крикнул:

— Стой!

Калмычонок испуганно натянул веревочные вожжи. Арба остановилась, и из-под ветоши показалось белое от пыли лицо Сукмана.

— Куда вы, Сукман? — теряясь от неожиданности, не сразу спросил я.

— В Астрахань еду, — облизывая языком высохшие, покрытые густой пылью губы, трудно сказал Сукман. — За пельем ету. В паню нато, — оправдывался он, привычно заменяя звонкие согласные глухими.

Он сбивчиво рассказал о том, что Рафалович сбежал; Элистинский исполком приказал прекратить приемку скота, заготовки остановились, и он, Сукман, у которого не оказалось даже смены белья, чтобы переодеться, решил съездить в Астрахань.

— Поедете со мной обратно! — сказал я Сукману, и он послушно пересел к Борису, заняв место пулеметчика.

К концу дня мы приехали в Яшкуль, а на другой день вместе с матросами тронулись дальше, в Улан-Эрге.

V

Запоздалое бабье лето, присущее Калмыцкой степи, когда еще в октябре стоят жаркие и сухие дни и приезжему кажется, что астраханская жарынь никогда не кончится, сменилось частыми ноябрьскими дождями и осенней непогодой.

Линия правительственного телеграфа, связывавшего Элисту через Царицын с Астраханью, давно была разрушена красновскими казаками. Не работала и почта, до революции доставлявшаяся на лошадях. От

недавних почтовых станций в степи остались лишь брошенные, заносимые песком постройки, а обнаружить стационарного зрителя стало столь же невозможным, как увидеть около барханов живого скифа.

В степи действовала только «калмыцкая почта» — порой кажущееся форменным чудом умение кочевников с поразительной быстротой передавать на огромное расстояние заинтересовавший кочевья слух.

Нам «калмыцкая почта» эта ничего не давала, и было мучительно сидеть в крохотном, оторванном от остальной страны степном поселке, не зная даже о важнейших событиях, происходящих в потрясенном русской революцией мире.

В Астрахани я побывал еще только раз — ездил за очередным денежным подкреплением — и тогда же добился присылки артельщика с пятью миллионами рублей. В ту пору, как и в дореволюционной России, кассиры набирались только из лиц, несущих материальную ответственность. Обычно такими кассирами снабжали особые артели, полностью отвечавшие за предложенных ими кандидатов. Поэтому ныне бытующее слово «кассир» тогда почти не употреблялось и заменялось привычным «артельщик».

Присланный нам артельщик был спокойным и медлительным старичком, ко всему равнодушным и ни во что не вмещающимся. Я не раз примечал, что постоянное общение с большими деньгами способствует отмиранию у людей этой профессии многих житейских страстей и страстишек.

С приездом артельщика всякая связь с Астраханью прекратилась, никого больше Богорад к нам не присылал и даже ухитрился не отвечать на письма, посылаемые мною в Мясной отдел с нарочным.

С головой уйдя в осуществление замысла, который тому же Богораду казался вздорной фантазией, я все подчинил поставленной перед собой цели. Было ясно, что степь не сегодня-завтра отойдет к белым, уже вытеснившим красные войска с Дона, Кубани, из Терской и Ставропольской губерний. Превратился в гроз-

ную силу, нависшую над степью с севера, и генерал Краснов, ведущий настойчивое наступление на Царицын и Воронеж и располагавший не одной казачьей дивизией.

Степной район находился как бы между молотом и наковальней — «Добровольческой армией» Деникина, заменившего погибшего еще весной под Екатеринодаром Лавра Корнилова, и донскими казаками Краснова.

Несмотря на отсутствие газет и оторванность от сколько-нибудь осведомленных товарищей, мы представляли себе общее положение республики и отлично понимали, как важен теперь каждый лишний вагон мяса, погруженный на астраханском холодильнике в идущий на север продовольственный маршрут.

Установив новые заготовительные цены на скот, значительно более низкие, чем те, по которым скот принимался раньше, мы внесли этим большое смятение в сознание тех, кому принадлежали не тронутые ни империалистической войной, ни революцией огромные стада крупного рогатого скота и многочисленные отары овец.

Весь этот скот, которого только у калмыков по гесьма приблизительным и давно устаревшим данным 1884 года насчитывалось свыше шестисот пятидесяти тысяч голов, находился либо в руках немногочисленных нойонов и зайсангов, либо у русских переселенцев, населявших пограничные с Дном села.

У Григория Носкова, неграмотного мужика, в доме которого я жил в Улан-Эрге, было свыше пятисот голов крупного рогатого скота и около трех тысяч овец.

Помню, ко мне как-то пришел старик, пригнавший баранов, или, как их здесь называли, «баранту»; он был не то из Ремонтного, не то из Крестов.

— Сколько же ты сдашь овец? — спросил я старика.

Обросший седой клочковатой бородой, с отмороженными, бурачного цвета щеками и слезящимися старческими глазками, он в своем заношенном, рва-

ном тулупе и прохудившихся сапогах показался мне поначалу рядовым пастухом.

— А кто его знает сколько, — сказал старик. — Нешто худобу * у нас считают? Пожалуй, тысяч с десять будет баранты. А може, поболе...

За осень восемнадцатого года мы закупили в Калмыцкой степи свыше ста тысяч голов. Четверть этого количества приходилась на великолепных быков-«четвертак», как их здесь называли, видимо, по весу — бык-четвертак имел не менее двадцати пяти пудов живого веса. Вероятно, в астраханских архивах сохранились отчеты агентов, на обязанности которых лежало оформление закупок. Если порыться в давно пожелтевших отчетах и просмотреть расписки владельцев скота, то окажется, что редко кто из них сдавал меньше сотни быков и тысячи-другой овец.

С расписками этими было немало конфуза. Местный государственный контроль, заполненный чиновниками, сохранившимися с дореволюционных времен, требовал, чтобы каждая расписка была заверена в местном Совете. Если получатель денег был неграмотен, то в расписке следовало написать:

«За неграмотного такого-то по его личной просьбе расписывается такой-то...»

Далее следовала стереотипная надпись: *«Подпись такого-то, расписавшегося за неграмотного такого-то, удостоверяю. Член Совета такой-то».*

Но не только калмыки, а и русские переселенцы, несмотря на тысячные стада и кулацкие дома под железом, были почти сплошь неграмотны. Почти не было грамотных и в местных, особенно аймачных и улусных, Советах. И агент Мясного отдела, как огня боявшийся придинок старых, царских еще чиновников, почему-то сидящих в Государственном контроле, прикладывал к отчету примерно такую расписку.

«Столько-то тысяч рублей за проданный мною принадлежащий мне скот получил» (следовал крест—обычная в старой России подпись неграмотного).

* Худоба — скот.

Дальше в полном соответствии с требованиями Государственного контроля стояло:

«За неграмотного такого-то (имя рек) по его личной просьбе расписался», снова следовал крест, ибо и расписавшийся за неграмотного был также неграмотен).

И, наконец, все это в соответствии с бюрократическими требованиями заверяли печать аймачного или улусного Совета и третий крест, ибо ни одного грамотного в Совете не оказывалось.

Скот, выпасавшийся в Калмыцкой степи, принадлежал сотне-другой богатых скотоводов, и от владевших ими настроений зависело многое.

Кое-кто из наименее сговорчивых кулаков-скотоводов, недовольный новыми ценами, погнал скот в Астрахань. В Мясном отделе к этому времени не знали, что делать с непрерывно поступающими стадами. Богорад почему-то приказал закрыть работавший на Калмыцком базаре ското-приемный пункт, и у скотоводов, прогнавших свой скот через степь, отказывались его принять. Обескураженный переселенец, передвигаясь от худука к худуку, гнал скот обратно в Улан-Эрге, и, конечно, после такого почти шестисотверстного перехода от недавней несговорчивости не оставалось и следа.

Теперь они навязывали свои стада за любую цену.

Все больше и больше скота прибывало в недавно еще тихий степной поселок. Около Улан-Эрге, что в переводе с калмыцкого значило «Красный овраг» — от красноватого цвета глинистого слоя, лежавшего над серым песком небольшой балки, у которой и возник поселок, — теперь, куда ни кинь глазом, белели бесчисленные отары овец, мычали и ревели, взрывая песок тяжелыми копытами, могучие быки, паслись выпряженные из мажар кони, серели кое-кем поставленные конусообразные калмыцкие кибитки.

Торопясь выгадать каждый день, остающийся до близкого снега и зимних шурганов, как здесь называют снежные метели, мы старались всячески упростить процедуру приемки скота и даже крупный рогатый скот покупали не по весу, а с головы. И не раз

на приемном пункте происходил примерно такой разговор:

— А что, отец, может, сразу договоримся? Давай по триста целковых за голову, — предлагал я, внутренне усмехаясь при мысли о том, как неожиданно для себя уподобился торгашу-прасолу, не так давно еще богатевавшему на мужицкой темноте и забитости калмыков-кочевников.

— Да ты глянь, товарищ комиссар, какая худоба, — торговался переселенец, показывая на пригнанное им стадо, — быки-то как на подбор. Четвертаки!

За эти несколько месяцев я научился уже определять на глаз живой вес животного. Быки действительно были хороши, пудов на двадцать пять каждый, и низкую цену я предлагал только потому, что знал нехитрую психологию кулака, — сколько ни предложи, все равно будет считать, что мало.

Торг продолжался, я доходил до четырехсот рублей за голову, и «стороны», наконец, ударяли «по рукам». Нанявшиеся в погонщики калмыки отгоняли купленное стадо в сторону, а продавший скот за половину заготовительной цены богатырь обрадованно шел с агентом к артельщику получать обесценивавшиеся с каждым днем деньги.

Верный поставленной перед собой задаче — дать голодающим центрам республики как можно больше мяса и жиров, я со всем пылом двадцатилетнего юноши отдался этому увлекательному делу. Обусловленная склонностями к литературному творчеству привычка мыслить образами заставляла меня видеть, как от Элисты до Астрахани на протяжении трехсот верст степные пески были как бы опоясаны сплошной белой полосой — это непрерывным потоком шли закупленные нами овцы. Там же, где неутомимые погонщики-калмыки гнали стада быков, белая лента эта приобретала красноватый отлив.

Я пробовал подсчитывать: если закупленный в Элисте и в Улан-Эрге скот впритык поставить друг к другу, то он покроет половину огромного расстояния, отделяющего нас от упорно молчавшей Астрахани.

Время от времени на мобилизованной подводе я отправлял в Астрахань нарочного. Деньги кончались, скот же шел все гуще и обильнее. Его уже пригоняли не только из недалеких пограничных сел и ближайших калмыцких улусов, но и со Ставропольщины. Была полная возможность заготовить не сто тысяч голов, как я обещал Бабкину, а значительно больше. Я требовал денег, просил людей, но Богорад упорно не отвечал на мои требования и просьбы.

Вскоре я остался почти без агентов, столь неосмотрительно набранных Мясным отделом или перешедших к нему от купеческой городской управы «по наследству». Дезертировавший в Астрахань Рафалович так и не вернулся, бывший штабс-капитан Календро как-то воспользовался моим отъездом в Астрахань и сбежал к белым.

Изменив Советам, на службу к которым он сам же напросился, бывший штабс-капитан оставил в комнате, в которой жил, письмо на мое имя. Полное непечатных ругательств, оно грозило мне жестокой расправой в недалеком будущем, когда, по мнению изменника, в России, наконец, воцарится «законная власть».

Дальнейшая судьба Календро мне неизвестна. Спустя полтора года, когда под Сочи нам сдалось все, что оставалось от «воинства» Деникина, я искал среди нескольких тысяч сдавшихся белых офицеров бывшего нашего агента, но так и не нашел его. А мне очень хотелось поговорить с ним о когда-то оставленном им на мое имя злобном и гнусном письме...

VI

Весь закупленный скот гоном перегонялся на Калмыцкий базар, другого способа отправить его не было. Нельзя было и забивать его на месте: мясо испортилось бы раньше, нежели было бы доставлено на верблюдах и волах на астраханский холодильник.

Перегнать многотысячные стада через степь было хитрым и трудным делом. Степные колодцы, худуки и копани, являлись на всем многоверстном пути единственными местами, где можно устраивать водопой.

Они рылись в те времена, а возможно роются и ныне, прямо в песке, не имели сруба и были разбросаны обычно по степи группами на расстоянии десяти, пятнадцати и даже пятидесяти верст друг от друга, а в южной части степи и того дальше. Вода в этих худуках была большей частью солоноватой и часто портилась.

Отсутствие пресной воды заставляло кочевников пользоваться и так называемыми «цандыками» — временными водоемами, образовавшимися от скопления на глинистой почве дождевой воды.

Недостаток воды чрезвычайно затруднял гон скота; надо было хорошо знать расположение и состояние худуков и уметь отыскивать в песках уголья с наименее выгоревшей травой.

Из переселенцев в погонщики скота редко кто занимался, почти весь скот, закупленный в Калмыцкой степи, был перегнан к Волге калмыками. Обычно гурт рогатого скота, насчитывающий четыреста-пятьсот голов, или двухтысячную отару овец, сопровождало пять погонщиков: два конных и три пеших. Я не помню уже, сколько получали калмыки за свой тяжелый и опасный труд, — в степи не так трудно было получить пулю от любого проходимца, позарившегося на казенный скот.

Врожденные пастухи, калмыки идеально справлялись с гоним. Только тот, кто наблюдал калмыка, показывавшего дорогу в степи, в которой столько дорог, сколько раз проехали по пескам скрипучие арбы с нехитрым скарбом перекочевывающей кибитки или хотона*, только тот, кто своими глазами видел, как калмык-проводник по каким-то одному ему понятным признакам находит на однообразной равнине, покрытой нетронутой пеленой первого снега, нужную ему тропу, — словом, только тот, кто изъездил унылые просторы Калмыцкой степи, может понять и оценить и кажущуюся сверхъестественной память и какое-то особое чувство пространства, помогающие кочевнику никогда не сбиваться с пути.

* Хотон — несколько кибиток, объединенных семейными или родовыми связями.

Старшему из погонщиков через переводчика или говорившего по-калмыцки члена аймачного или улусного Совета внушалось, что он головой отвечает за каждого вверенного ему быка или барана. Если скотина падет в пути, он, старший погонщик, должен заявить об этом в ближайший аймачный или улусный Совет и просить казенную бумагу с печатью.

Калмыки были такими превосходными пастухами, что падежа скота в пути почти не случалось, если не считать последней, попавшей в неистовый шурган и целиком замерзшей отары. Но по степи и особенно по древнему, не случайно прозванному воровским, Крымскому тракту в ту необыкновенную пору ездило и просто шаталось множество самых темных и случайных людей.

С Минеральных Вод возвращались попавшие туда на лечение и потом отрезанные от внутренних губерний России раненые офицеры и солдаты. На Ставропольщину за хлебом шли снаряженные астраханскими кулаками обозы. Загоняя калмыцких скакунов, проносились на бешеных тройках авантюристы и проходимцы с липовыми мандатами и вовсе без них, но зато с огромными маузерами у пояса и карабинами за спиной. Вся эта орава обладала волчьим аппетитом и готова была, как прожорливая саранча, слопать без остатка все мало-мальски пригодное для еды.

Перегонявшиеся калмыками стада закупленных овец не всегда шли вдали от наезженного тракта. Разговор с калмыком-погонщиком был прост.

— Давай махан, калмыцкая морда! — хватаясь за пистолет, рычал проходимец, с грохотом подкатив к стаду.

Испуганный калмык пытался объяснить, что скот казенный и никто не вправе его трогать. Четырехэтажный мат тотчас же обрушивался на голову погонщика, и, хотя калмык не очень понимал слова, обидный их смысл сразу доходил до него. Еще красноречивее действовали угрозы маузером или карабином. В конце концов проходимец, обычно путешествующий в небольшой, но теплой компании, овладевал легкой до-

бычей — пятком, а то и десятком жирных курдючных баранов.

— Бамажка давай, — лепетал калмык, даже под наведенным на него дулом помнящий о наставлении, полученном перед отъездом со скотоприемного пункта.

Порой вместо просимой бумажки калмык получал по шее. Иногда проходимец, проявив непонятное великодушие, писал на клочке бумаги просимую расписку, и погонщик бережно прятал ее в висевшую на грязном шнурке заветную ладанку, в которой лежали охранявшие его от нечистой силы молитвы.

Спустя месяц, сдав на Калмыцком базаре перегнанное, наконец, через степь стадо, старший погонщик приходил в двухэтажный кирпичный дом на Кутуме к кому-нибудь из сотрудников Мясного отдела, разместившегося в реквизированном особняке астраханского миллионера Макарова.

Сдав препроводительную, выписанную агентом еще в Улан-Эрге или Элисте, калмык снимал с шеи ладанку и с трогательной бережностью извлекал полученную в степи расписку. Но что только не писалось степными шутниками, привыкшими изливать обуревающие их поэтические чувства на стенах отхожих мест!

Какой-то грабитель из «образованных», помнится, подписал такую издевательскую расписку именем популярного пушкинского героя.

«Граф Нулин», — расписался он, поставив писарский завиток.

Странствующая по степи сволочь измывалась над погонщиками скота как хотела. Но я не помню ни одного случая, когда калмыки бросили бы доверенный им скот или присвоили хоть одну ледащую овцу. В последнем, кстати сказать, не было и надобности, — разбогатевшие на чужом горбу скотовладельцы, сдавая агенту огромную отару овец, охотно «подбрасывали» трех-четырех баранов «на харчи» погонщикам.

К любому доброму слову или благожелательному поступку калмыки относились с трогательной признательностью. Сознаюсь, очень скоро я почувствовал

себя влюбленным в калмыцкое гостеприимство, их честность, доверчивость, доброту.

Помню, я несколько раз делал на пути из Астрахани и обратно к Волге короткие привалы в хотоне, или поселке Харцыглю. Гостеприимные калмыки, прирезав барана, охотно потчевали меня сваренной в соленой воде бараниной.

Пока кто-нибудь из калмыков скакал в пасущийся неподалеку косяк за свежими лошадьми, я располагался в знакомой кибитке и, скрестив под собой по-восточному ноги, устраивался на постеленной на земле кошме на почетном месте у самого «тулго» — кованной железной треноги, под которой разводится огонь.

Есть особая, ни с чем не сравнимая прелесть в неторопливой беседе у тлеющего под чугунным котлом кизяка.

Сквозь верхнее отверстие войлочной юрты, являющееся и единственным окном в жилище и дымоходом, видно бездонное звездное небо. Деревянный, решетчатый остов кибитки, на который натягиваются кошмы, сделанные, как и все в кочевье, искусными руками женщин, окрашен красной краской. Решетки эти, озаренные пламенем первобытного очага, алеют, словно свежая кровь. Справа от очага на низенькой самодельной кровати пристроились любопытные, как и везде в мире, голые, несмотря на позднюю осень, калмыцкие ребятишки, и глазастые лица их в свете очага блестят так, будто они из начищенной меди. Слева от кровати находится молитвенный ящик с бронзовыми и серебряными статуэтками «бурханов», а перед ним поблескивает позолотой крохотный столик с жертвенными чашечками.

Хозяин сидит на корточках чуть поодаль и, внимательно слушая почетного гостя, покуривает черную от долгого употребления, снабженную длинным, как у цыган, мундштуком трубку. Такие же трубки курят и женщины.

У хозяина в ухе серебряная серьга. Сожженное степным солнцем безбородое лицо его застыло в предупредительной, по-восточному загадочной улыбке, и

эта улыбка как будто в точности повторяет навсегда застывшие черты лица крохотного медного Будды, стоящего на молитвенном ящике.

Женщины — в кибитке их обычно несколько — не решаются сесть в присутствии гостя и либо бесшумно двигаются по юрте, либо стоят, прислонившись к легкой и прочной решетке. Грудь у женщин, обычно плосковатая от так называемого камзола — подобия корсета, носимого девочкой с детства, — почти открыта, и даже на смуглой коже сразу бросается в глаза накопившаяся не за один месяц грязь. У замужних женщин волосы заплетены в косы и, покрытые черными специальными чехлами, висят вдоль плеч.

После долгого пути с удовольствием пьешь соленый, удивительно вкусный калмыцкий чай.

В жару в кибитке прохладно; в осенние же и зимние ночи, когда предусмотрительно закрывалось харачи — верхнее, служащее для освещения отверстие, в кибитке совсем не холодно. Архитектура кибитки и ее конструкция поражали редкой слаженностью и продуманностью отдельных частей, позволяющие калмыкам почти мгновенно разбирать и снова ставить свои переносные войлочные дома.

С каждым моим новым приездом в Харцыглю калмыки делались приветливее и радушнее, и я начинал уже чувствовать себя у них как дома.

В последний приезд мой в Харцыглю, когда я, покончив с калмыцким чаем, принялся за мутновато-белый ш и л ю м, какой-то калмык вошел в кибитку и о чем-то встревоженно заговорил с моим хозяином. Разговор велся по-калмыцки, но я чувствовал, что речь идет о волнующих обоих вещах.

Наконец хозяин кибитки рассказал, что возчики из только что миновавшего Харцыглю «хлебного» обоза на глазах у пастушонка угнали калмыцкую корову.

Поручив ехавшему со мной Борису подождать, пока из степи пригонят свежих лошадей, я взял выданный мне в Астрахани новенький карабин-винчестер и вместе с сопровождавшим меня матросом бросился догонять медленнодвигающийся на запад обоз.

Не так давно Астраханский губисполком разрешил местным Советам в целях облегчения продовольственного положения края отправлять на богатую хлебом Ставропольщину сформированные самими крестьянами обозы. В далекий путь отправлялись обычно те из крестьян, у кого были и нужные деньжонки в золоте или в царских кредитках, и кое-какое «барахлишко» для процветающего уже «товарообмена», и мажара покрепче, и верблюды и волы посытее, — словом, преимущественно крепкие «хозяева», а то и заведомые кулаки. По распоряжению губпродкома обозникам выдавались винтовки для охраны хлеба, который потом втридорога перепродавался на рынках.

Обоз, угнавший калмыцкую корову, был отчетливо виден. Конечно, обозники сразу же заметили и меня с моим спутником. Я выразительно размахивал винчестером, требуя, чтобы они остановились, но обоз продолжал уходить в степь.

Я дал предупредительный выстрел, потом второй, третий. Внезапно от обоза отделилась корова и рысцой побежала куда-то влево: вероятно, к стаду, от которого была отбита.

Обоз, наконец, остановился. Мы подошли; человек пятнадцать мужиков, кто в заношенных тулупах, кто в солдатских шинелишках, сгруппировались у порожних подвод и угрюмо глядели на нас.

— Кто старший обоза? — спросил я.

— Я старшой, — не сразу ответил седобородый мужик того степенного вида, который так присущ был дореволюционным сельским и волостным старшинам, и неохотно отделился от толпы.

— Кто корову угнал? — продолжал я.

— Какую корову? Нам чужие коровы ненадобны, — с деланным достоинством сказал старик. — Никакой коровы мы и в глаза не видавали, — бесстыдно соврал он, хотя отделившаяся от обоза корова еще трусила на виду у всех.

Я пригрозил «старшому» и не удержался от того, чтобы не напомнить крестьянам, какой шум поднимают они сами, когда какой-нибудь проходимец с со-

ветским мандатом незаконно реквизирует у них лошадь или худобу.

Вместе с моими спутниками я тронулся в путь, провожаемый благодарными взглядами калмыков.

VII

Поздней осенью восемнадцатого года в Улан-Эрге проездом остановился прославленный Тулак, бывший комиссар особого рабочего отряда и комендант Царицына. Мы ненадолго встретились. Только накануне от кого-то из проезжих я узнал о революции в Германии. Известие это глубоко взволновало меня, мировая революция, в которую все мы свято верили и которую так нетерпеливо ждали, наконец-то пришла! Никогда в жизни я не испытывал большей радости и подъема, никогда еще сама жизнь не казалась мне такой прекрасной, хотя я третий месяц уже торчал в невообразимой глуши, без газет, без книг, без общения с товарищами, если не считать Бориса, в тоскливом ожидании того, что местные и элистинские кулаки наконец-то сбросят овечью шкуру и покажут свои волчьи зубы.

Тулак был намного старше и сдержаннее меня. Высокий, сумрачный, в черной мохнатой бурке, придававшей ему особенно мрачный вид, он был, однако, подобно мне, полон радостного волнения, вызванного потрясшими мир событиями в Германии.

Мы коснулись в коротком нашем разговоре положения в Элисте и на все еще проходившем под Ремонтным фронте.

Сказав, что намерен в самое ближайшее время навести в степи должный большевистский порядок и высказав самые оптимистические в этом отношении надежды, Тулак заторопился и ускакал в Элисту.

Больше я его не видел. Через несколько дней восставшие кулаки зверски убили его на паперти элистинской церкви.

...В конце ноября или в самом начале декабря восемнадцатого года мы решили перебраться из Улан-Эрге в находящийся верстах в сорока к северу по-

село Чилгир. Со дня на день надо было ждать снега, делавшего невозможным дальнейший гон скота вдоль Крымского тракта. Прекращать закупку скота мы не считали себя вправе и полагали, что, вопреки обычаю не скупать в степи скот зимой, сможем не только продолжить широко развернувшиеся заготовки, но и организовать зимний гон.

Отправным пунктом должен был стать Чилгир, располагавший довольно значительными запасами накопившегося за несколько лет собранного в стога сена. Была возможность закупить сено и севернее Степной дороги, ведущей на Черный Яр, и это являлось еще одним доводом за то, чтобы попытаться наладить зимний гон скота по новым маршрутам.

В Элисте, а затем в Улан-Эрге мы сделали все, что могли. Свыше ста тысяч голов ушло в Астрахань; десять миллионов рублей в царских кредитках, полученные мною и артельщиком, были давно израсходованы, и я распорядился закупать скот по долговым распискам. Жадные и недоверчивые мужики-богатеи, у которых так трудно выпросить займы трешку, были вынуждены продавать пригнанный издалека скот в долг.

Астрахань непонятно молчала. Теряясь в догадках и боясь упустить последние бесснежные дни, я продолжал закупать скот, отлично понимая, что буду разорван в куски озлобленным кулачем, если не сумею с ним расплатиться. Задолжал я за скот около миллиона пятидесяти тысяч, примерно за тридцать, тридцать пять тысяч овец, и, зная уже степные нравы, мог легко представить себе, что никто из кулаков не простит мне, если Астрахань все-таки не пришлет денег и я окажусь невольным обманщиком.

Из Улан-Эрге мы уехали, когда на базах не осталось ни одной самой захудалой коровешки и овцы. Закупка огромного количества скота прошла без особых происшествий. Значительная часть гуртов и отар благополучно дошла до Астрахани. Я знал об этом от вернувшихся погонщиков, многие из которых вторично погнали скот через степь.

Уже давно мы привлекли к осмотру скота единственного ветеринарного врача, которого удалось отыскать в степи. Калмык по происхождению, отлично говоривший по-русски, он одновременно являлся и переводчиком и человеком, знакомившим нас с нравами и обычаями кочевников.

С ветеринаром мы быстро сдружились; доверчивый, как и все калмыки, он охотно рассказывал о себе, и я до сих пор помню курьезную историю о том, как ни одна квартирная хозяйка в Варшаве, где находился ветеринарный институт, не желала держать «на хлебах» калмыка-студента, уничтожавшего по степной привычке до семи фунтов мяса в день.

С помощью ветеринара среди пригнанных овец была обнаружена и сразу же ликвидирована оспа.

Улан-Эрге опустел. Еще недавно за околицей шумела степная ярмарка, белели разбитые калмыками кибитки, мычал скот, гудела пестрая толпа, скакали, загоняя скот, погонщики. Теперь под настойчивым осенним дождем стояли немые, словно вымершие дома. Керосина ни у кого не было, свет в домах не зажигали, ранние сумерки быстро спускались на землю, и до позднего утра поселок окутывала зловещая темнота.

Ни книг, ни газет не было. Григорий Носков, хозяин дома, в который меня устроил Совет, неделями пропадал в степи на «зимнике», да и будь он дома, мне не было бы веселей в обществе этого угрюмого пятидесятилетнего кулака, ненавидевшего меня спрятанной, но ощутимой ненавистью. Незадолго до моего отъезда из Улан-Эрге председатель комбеда Левицкий с помощью присланных Тулаком красногвардейцев, щуплых городских пареньков, неумело сидевших на истощенных конях, арестовал несколько местных богатеев, в том числе и моего хозяина, за отказ уплатить контрибуцию.

К ненависти хозяина присоединилась и откровенная вражда, написанная в глазах старухи хозяйки. Старшие сыновья Носкова по-прежнему воевали под Ремонтным, младший сын, великовозрастный астраханский гимназист, куда-то исчез, в доме стало со-

всем тошно, и в бесконечные осенние вечера мы с Борисом развлекались только тем, что проигрывали на немилосердно хрипящем граммофоне одну и ту же полюбившуюся нам пластинку с песенкой Беранже о двух гренадерах.

Во Францию два грена-дер-ра
Из русского пле-на бре-ли,
И оба душой приуныли,
Дойдя до н-немец-кой зем-ли, —

надрывался в огромной граммофонной трубе чей-то простуженный бас, и, может быть, потому что напряженные до крайности нервы уже не выдерживали, знакомые слова эти доводили до слез.

В Чилгир я перебрался налегке. Отряд наш растаял до последнего матроса, агент Сукман, так и не сменивший своего заношенного «пелья», принял последний гурт и с накопившимися денежными отчетами агентов уехал в Астрахань. Полугрузовой «фиат», на котором я впервые приехал в степь, давно вышел из строя, и мы волей-неволей бросили его. Отправив вперед равнодушного ко всему артельщика и прибывшего с месяц назад круглолицего счетовода Кораблева, мы с Борисом покинули угрюмый Улан-Эрге, рассчитывая вернуться в него, как только придут затребованные в Мясном отделе деньги. Нестреляющий пулемет мы на всякий случай захватили с собой, хотя никакого толку от него не было.

Борис уговорил меня отправить с артельщиком в Чилгир брошенную кем-то из калмыков лошадь, двадцатилетнего беззубого мерина грязновато-белой масти.

— На кой он тебе? — удивленно спросил я.

— Да так... Жалко бросить, — неопределенно ответил Борис.

И никому из нас и в голову не пришло, что на этом еле передвигающем ноги загнанном и дряхлом коне еще через несколько дней я вынужден буду бежать в степь, уходя от кулацкой погони.

Едва мы приехали в Чилгир, как я простудился и вынужден был целые дни проводить в отведенном нам с Борисом мрачном кулацком доме. Говорившая

глуховатым басом мужеподобная девка гвардейского роста неохотно обслуживала нас, хозяин дома не то находился в степи, или, как здесь говорили, «в степу», не то умышленно скрывался от навязанных ему постояльцев.

Дом, в котором мы жили, окнами выходил на пустынную площадь, скорее пустырь. Справа находилась небольшая церквушка, напротив, через площадь, в доме сбежавшего лавочника разместился сельский Совет, и под тою же крышей не так давно заработал и комбед, возглавленный очень живым и деятельным мужичонкой, заросшим клочковатой нечесаной бородой.

Пользуясь вынужденным бездельем, Борис решил поохотиться на дудаков. Дудаки, или дрофы, важно разгуливали по степи, но близко к себе не подпускали; бить же их из винтовки на расстоянии трехсот-четырехсот шагов было трудновато, хотя весившая около пуда дрофа и представляла собой довольно крупную цель.

Как ни соблазнительна была возможность подстрелить жирную дрофу и ею заменить осточертевшую баранину, которую местные крестьяне, подобно калмыкам, варили без всяких кореньев и приправ, от заманчивого приглашения Бориса я вынужден был отказаться, — температурило, мучил непрерывный сухой кашель. Судя по всему, меня наконец-то поразила хищнически хозяйничавшая в степи испанка.

Охота оказалась удачной, Борис вернулся с убитой дрофой. Солдатоподобная девка, кое-как очистив убитую птицу, сварила ее — жарить она не то не умела, не то не захотела.

Наутро, когда мы вспомнили о недоеденном дудаке, в дверь неожиданно постучали и в горницу торопливо вошел неизвестный солдат.

— Я до вас, — сказал он, безошибочно различив во мне старшего, — письмо вам... От Совета...

Письмо, переданное солдатом, было снабжено штампом Улан-Эргинского волостного Совета и подписано его председателем; Совет просил меня срочно приехать и успокоить крестьян, встревоженных

длительной неуплатой денег, причитавшихся за проданный скот.

Сама по себе малограмотная бумажка эта не вызвала никаких подозрений; у крестьян были все основания интересоваться тем, когда же им будет уплачен обещанный миллион. Но солдат мне сразу не понравился, хотя он и попытался успокоить меня.

— Известное дело, мужики! — ухмыльнувшись, сказал он. — Мало ли чего им мерещится... Вот и требуют, чтобы вы обратно вертались...

Не составив еще определенного мнения о неожиданном посещении, я сослался на то, что прихворнул, и обещал через несколько дней обязательно приехать в Улан-Эрге.

— Кстати, почему я тебя ни разу не видел? Ты чей? — спросил я солдата.

— Что вы, товарищ уполномоченный, — сказал солдат, — да я скрозь всю осень был дома. То ись в Улан-Эрге. Вы, наверное, запомнили.

Он поспешно назвалсся, но фамилия его показалась мне такой же незнакомой, как и наружность. В Улан-Эрге я знал в лицо да и по именам всех местных крестьян, — крохотный поселок с двумя десятками домов можно было за полчаса пройти вдоль и поперек.

Но я не успел уличить солдата во лжи, как внимание мое привлек путник, остановившийся на площади, как раз против окна, у которого я сидел. На невзрачной клячонке сидел хорошо знакомый мне Штоколов, председатель Элистинского уездного комитета партии. Бывший фронтовик, он был в старой своей солдатской шинели, но ни винтовки, ни револьвера при нем не было, хотя в ту пору никто не ездил по степи невооруженным; необычной казалась и лошаденка — в степи недостатка в превосходных конях не было, и уж кто-кто, а Штоколов в случае нужды всегда мог разжиться полукровкой.

Почти тотчас же я разглядел, что Штоколов сидит не в седле, а на обыкновенной крестьянской подушке и вместо стремян пользуется петлями перекинутого через спину лошади ремня.

— Штоколов, откуда ты? — распахнув окно, окликнул я председателя укома. — Что ты здесь делаешь?

— Да вот Совет разыскиваю, — ответил Штоколов и, обрадованный не менее меня неожиданной встречей, соскочил со своей взмыленной лошаденки и стремительно вошел в дом.

— Ты знаешь, в Элисте восстание, — начал он еще на пороге, — Тулак и Пастушков убиты, всех нас мужики заарестовали, но я бежал и, как видишь, добрался до Чилгира...

Он знал Бориса, но неизвестный солдат, которого Штоколов, наконец, заметил, показался ему подозрительным, и председатель укома поспешно умолк.

— Я до Совета дойду. Доложусь, что приезжал. А пока прощайте! — сказал солдат и поспешно вышел.

— Наверное, из тех, — сказал Штоколов, проводив его недобрым взглядом.

— Из каких? — не понял я.

— Да из тех восставших фронтовиков, что Тулака и Пастушкова прикончили, — пояснил Штоколов и торопливо рассказал о кровавых событиях, которые произошли накануне в Элисте.

По приказанию Тулака на площади у элистинской церкви был созван митинг; кроме элистинских мужиков, собрались и фронтовики, бог весть зачем прискакавшие из Ремонтного.

Митинг открыл Тулак. Но не успел он сказать и несколько слов, как находившиеся в передних рядах заговорщики бросились к нему и тут же на перти церкви убили его и Пастушкова.

— Понимаешь, прямо в клочки разорвали. Этакое зверье! — содрогнулся Штоколов.

Убийство Тулака и Пастушкова послужило сигналом к давно подготовленному мятежу. Восставшие арестовали всех местных коммунистов; их набралось человек пятнадцать; вместе с остальными был захвачен и Штоколов...

Захваченных коммунистов мятежники порядком избили. Штоколову повезло, его почти не тронули,

а вечером, попросившись у караульного на двор, он забежал в знакомую хатенку и, приладив хозяйскую подушку к спине жалкой вороной клячки, уныло стоявшей теперь под моим окном, бежал в степь.

Расправившись с Тулаком и Пастушковым, избив и переарестовав местных коммунистов, мятежники отрядили, как слышал Штоколов, с полсотни конных в Улан-Эрге; председатель укома ехал прямоком через степь и значительно опередил мятежников, которых вскоре можно будет ждать и здесь.

Пока Штоколов, глотая слова, знакомил нас с положением, сложившимся в степи после кулацкого мятежа, прибежал председатель комбеда.

— Товарищ уполномоченный, — запыхавшись, сказал он, — солдат, что у вас был, вам глаза замазывал, хотел в Улан-Эрге заманить. А сам, сукин сын, допреж того, чтобы к вам заявиться, в здешний Совет привез приказ заарестовать вас и держать, покуда улан-эргинские, ну, и, конечно, те, кто Тулака прикончил, сюда не нагрянут.

— Не знаю, как вы, — продолжал председатель комбеда, все еще не отдышавшись, — а что до меня, то я сей момент из Чилгира смоюсь. Не ровен час, убьют, а то еще живого в худук бросят, — поежился он и признался, что, уйдя от меня, тотчас же ударится в степь и покамест «подастся на Яшкуль».

Председатель комбеда убежал, и мы остались втроем: надо было что-то решить.

— Оставаться тебе в Чилгире никак нельзя, — сказал мне Штоколов, — иначе с тобой кулаки такое сделают, что ты и Тулаку позавидуешь. Денег за скот ты им так и не отдал, да у тебя, наверное, и нет их? — поспешно спросил он.

Я молча кивнул головой.

— Ну вот, видишь, — словно обрадовавшись чему-то, продолжал председатель укома, — задолжал почти всем здешним богатеям, а долгу не отдал. Ты сколько им должен? — поинтересовался Штоколов.

— Больше миллиона, — сказал я, хотя и не видел нужды так подробно заниматься этим вопросом.

— Вот за этот-то миллион они тебя живым из рук не выпустят, а если и подержат некоторое время, то все равно, как увидят, что Астрахань тебя выкупать не собирается, в ту же минуту прикончат, — уверенно сказал председатель укома. — Нет уж, придется тебе собраться и вместе со мной уйти в степь. Кони-то у тебя есть? — на всякий случай осведомился он.

Я признался, что, кроме брошенного неизвестным калмыком ветхого мерина, ничем не располагаю.

Это было непростительным легкомыслием с моей стороны, и Штоколов осуждающе покачал головой. Быстроногий, крепкий конь в богатой превратностях, носившей полевой характер гражданской войне не раз спасал своему хозяину и жизнь и свободу. На надежном коне удавалось, когда не оставалось другого выхода, и уйти от неминуемого плена и избавиться от проволочной петли и повешения на телеграфном столбе, ожидавшем тебя, как большевистского комиссара.

— Тебе, — обращаясь к Борису, продолжал председатель укома, — особенно опасаться нечего. О том, что ты вступил в партию, кулачье не знает, по названию ты агент, чего с тебя взять, сам, может, у большевиков не от хорошей жизни служишь, стало быть, тебя, если и захватят сгоряча, то все равно выпустят. Ну, а об артельщике и конторщике и вовсе беспокоиться незачем, — сказал он и, положив конец моим колебаниям, заставил меня собраться в дорогу.

С Борисом мы условились, что он попытается мобилизовать две тройки или хотя бы две пары лошадей, погрузит нестреляющий пулемет, свои и мои вещи, объемистый чемодан артельщика и скромное барахлишко Кораблева и выедет в степь.

Опасаясь, что возможная погоня бросится искать нас на дороге, ведущей в Яшкуль, мы решили двинуться в противоположном направлении. Верстах в двадцати к северу от Чилгира находился, насколь-

ко я знал, заброшенный калмыцкий хурул*; около этого хурула мы и должны были ждать Бориса.

Дряхлый мерин, которого Борис зачем-то притащил в Чилгир, достался нам вместе со стареньким, почти негодным калмыцким седлом; вместо трех подпруг, обязательных в таком покрытом поперх деревянного ленчика большой кожаной подушкой седле, имелась только одна. Но раздумывать было некогда. Я оседлал своего нелепого мерина, перекинул через плечо винчестер, подвязал к поясу рядом с кобурой от пистолета кем-то подаренный кинжал и, сунув в набитые патронами бездонные карманы своей бывалой шинели несколько восьмушек махорки, собрался в путь. У нас было несколько винтовок, и Штоколов поспешил вооружиться одной из них.

Борис пошел по дворам за подводами, мы же, свернув в проулок, медленно двинулись в степь. Из осторожности мы взяли направление на Яшкуль, решив с наступлением темноты круто изменить маршрут и тем сбить со следов возможную погоню.

VIII

До сих пор не могу понять, почему чилгирские кулаки, примкнувшие к мятежу, дали нам со Штоколовым возможность уйти в степь.

Едва мы выехали за околицу, как в Чилгире всполошились, — мы поняли это по звукам набата, в который забили в поселке.

На выезде паслось несколько стреноженных лошадей. Ни выбившаяся из сил лошадедка Штоколова, ни мой мерин иначе как шагом двигаться не могли, и мы подумали, не обменять ли нам лошадей. Но взнуздывание и переседловка отняли бы время, а угон лошадей озлобил бы чилгирских мужиков.

Отказавшись от мысли о замене наших одров, мы продолжали с чудовищной медлительностью уходить в степь. Было еще светло, мы двигались на виду у поселка, и вышли за нами чилгирцы погоню, она немед-

* Хурул — буддийский храм.

ленно бы нас настигла. В таком случае мы решили залечь и отстреливаться, а в ровной степи преследователь всегда находится в худшем положении, нежели прижавшийся к земле преследуемый.

Чилгирские кулаки, однако, почему-то выпустили нас. Как выяснилось потом, моя скромная особа внушала мятежникам куда больший страх, нежели я мог рассчитывать, если бы и был беззастенчивым хвастуном. Борис, с которым я дней через десять увиделся уже в Астрахани, рассказывал, что, когда бросившиеся за нами в погоню по Яшкульскому тракту улан-эргинские мятежники вернулись ни с чем, среди чилгирских мужиков пошел слух, что я, соединившись с каким-то неведомым отрядом, брожу вокруг Чилгира. У страха глаза велики, и этот нелепый, ничем не вызванный страх, возможно, и заставил чилгирских кулаков дать нам возможность уйти.

Побежав по дворам и везде наталкиваясь на злобный отказ дать лошадей и недвусмысленные угрозы, Борис, едва услышав набат, вернулся домой. Тотчас же на площади появились вооруженные мужики. Их больше всего пугал стоявший в нашей комнате пулемет — о том, что он безнадежно испорчен и безопасен, как ухват, они не знали.

Потеряв порядочно времени в ожидании, когда Борис откроет по ним пулеметный огонь, и убедившись, наконец, в полной неосновательности всех своих страхов, мужики ворвались в дом. Брошенный мною брезентовый потрепанный саквояж был немедленно вскрыт; кроме грязного нательного белья, там было немало крахмальных воротничков и манжет, которые я нашивал в Питере и Москве и бог весть почему не догадался выбросить, отправляясь в степь. Не очень понятное крахмальное белье это озадачило примкнувших к мятежу кулаков.

— Ишь ты, нарукавничкив скильки, — удивленно сказал кто-то из них.

Выброшенные из саквояжа вещи снова втиснули в него, стоявший в углу пулемет был поднят на чьи-то плечи, Бориса под усиленным конвоем повели в Совет, где и заперли в пустой комнате.

Уже смеркалось, когда из Улан-Эрге прискакали мятежные фронтовики. Сразу же устремившись на ведущую в Яшкуль дорогу, они нагнали председателя комбеда и зверски избивали его до тех пор, пока он не испустил дух. Весь вечер и всю ночь прибывший из Улан-Эрге отряд шарил по степи, разыскивая меня со Штоколовым. Но никому из мятежников и в голову не пришло, что мы двинемся по бездорожью на север.

Самым трудным оказалось уйти из поля зрения чилгирских кулаков. Если бы наши одры способны были перейти хоть на мелкую трусцу, мы считали бы, что нам привалило неслыханное счастье. Но лошади еле передвигали ноги. Борис накануне ездил на своем приبلудном мерине в степь и выбил из него последние силы, и теперь ни тяжелая калмыцкая нагайка, ни даже кинжал, которым я пробовал покалывать обессиленное животное, не могли заставить его идти хотя бы быстрым шагом. Обессиленный мерин все время останавливался, не шла и лошаденка Штоколова, на которой он без остановки проехал от Элисты около ста верст; в ровной степи, точно назло, было далеко видно, и нам понадобилось мучительно много времени, пока покинутый нами поселок не скрылся за горизонтом.

Быстрые зимние сумерки, наконец, окутали притихшую степь. Было 7 декабря по старому стилю, я навсегда запомнил эту дату. Днем, пока над степью стояло солнце, приход зимы еще не чувствовался. Но к вечеру небо обложило, подул холодный ветер, оттаявшие за день лужицы сковало молодым льдом. Мы давно уже вели лошадей в поводу, но измученные животные упирались, и их приходилось тащить.

Стемнело. Мы заметили направление ветра, он дул с запада, и обмерзшая левая щека заменяла мне компас. Ни у меня, ни у Штоколова не было часов, беззвездное, почти черное небо сливалось с такою же темной степью, решить, как далеко мы ушли от Чилгира и сколько прошло времени, было трудно, — время тянулось так медленно, что казалось, мы всю

жизнь вот так шагаем по обледенелой степи, таща за собой упирающихся лошадей.

Вероятно, ночь была на исходе, на горизонте появилась еще мутная, но уже явственно багровеющая полоса, предвещавшая недалекий рассвет. К нашему великому огорчению, восток обозначался не справа от нас, а слева. Должно быть, в течение ночи пронзительный холодный ветер, помогавший нам ориентироваться в темноте, круто переменял направление, и мы, сбившись с пути, продвинулись в сторону того самого Улан-Эрге, который еще накануне был захвачен мятежниками.

Вслед за жестоким разочарованием пришла и безмерная усталость. Бросив приставших лошадей и даже не стреножив их, мы бросились на землю и, крепко обняв друг друга, попытались спастись от пронизывающего насквозь ледяного ветра. У Штоколова оказалась запасная, пришедшая почти в полную негодность солдатская шинелишка, которой он прикрывал заменившую седло подушку.

С головой укрывшись этой ветошью, мы тщетно пытались согреться, и я вдруг понял, что совершенно бессилён прекратить отвратительную дробь, которую непрерывно выбивали мои зубы. Я никогда не представлял себе, что выражение «зуб на зуб не попадает», всегда казавшееся мне иносказательным, может так точно определять состояние, в котором находится продрогший до костей человек.

Трудно сказать, сколько времени мы со Штоколовым пролежали на обледенелой земле. Усталость взяла свое, и мы забылись в коротком полусне.

Открыв глаза, я увидел посветлевшее небо. Вскоре край его подернулся алым. Я вскочил на ноги. Лошади были на месте; еще немного, и багровое зимнее солнце взошло над степью; заискрились скованные льдом лужицы, зазеленели не вытопанные до конца, поразительно живучие степные травы; степь как бы ожила, и вдруг на горизонте обозначились, словно снятые с жестяной чайной коробочки китайские пагоды, башенки брошенного хурула. То, что

ночью мы приняли за близкий рассвет, было лишь отблеском степного костра.

— А здорово это мы, даже нисколько по степи не блуждали, — поднявшийся с земли Штоколов с явным удовольствием уставился на отчетливо вырисовывавшуюся причудливую кровлю хурула.

— Борис нас, наверное, давно ждет, — сказал я. То, что мы разминулись ночью в степи, казалось вполне вероятным. — Давай трогаться.

Взнуздав коня, я подтянул ослабленную на ночь подпругу и вскочил в седло. Отдохнувшая за ночь кляча пошла ровным шагом и попыталась даже перейти на рысь. Еще удивительнее было, что мучившая меня последние дни испанка внезапно прошла. Заложенные еще вчера бронхи очистились, затрудненное дыхание сделалось легким, дававшая себя знать довольно высокая температура больше не ощущалась.

Доискиваться до истинной причины моего внезапного выздоровления, обусловленного, вероятно, резким напряжением всей нервной системы, я не стал: надо было спешить к хурулу.

У брошенного хурула никого не было, Борис так и не приехал, и это очень встревожило меня, хоть я и успокаивал себя, что с ним, рядовым агентом Мясного отдела, мятежники ничего не сделают.

Было далеко за полдень, когда мы, поняв, что дальнейшее ожидание ничего не даст, снова тронулись в путь. Но надежда на то, что Борису все-таки удалось выехать из Чилгира, не покидала меня.

Верстах в десяти от хурула мы наткнулись на пасущийся в степи косяк. Неподалеку стоял джолом, конусообразное подобие кибитки, лишенной нижних, образующих стенки, щитов. Из джолома вышла высоченная калмычка с длиннющей трубкой в прокуренных зубах.

— Коней давай, — потребовал я и, показывая то на косяк, то на наших еле передвигающихся лошадей, кое-как пояснил, что своих одров мы охотно оставим взамен.

За нашими спинами угрожающе торчали винтовки, вид у нас был довольно странный — один в стареньком седле, другой на простой подушке, кто мы, «большаки» или «кадеты», калмычка не знала и не стала допытываться. Приказав что-то по-калмыцки появившемуся из джолома байгуше, она равнодушно проследила за тем, как он отогнал от косяка двух довольно резвых кобыл и поспешно переседлал их. Мы оказались настолько деликатными, что даже не потребовали седел, но старую калмычку это не тронуло, и она так и не проронила больше ни одного слова.

Пересев на свежую лошадь, Штоколов перевел ее в галоп, я с наслаждением последовал его примеру, и хотя оба мы не ели со вчерашнего дня, мы не подумали попросить у неприветливой калмычки хоть чашку соленого калмыцкого чая. Скачка по степи доставляла ни с чем не сравнимое удовольствие, и мы, позабыв о предстоявшем нам долгом пути, не торопились перевести лошадей на рысь.

Наконец мы опомнились и уже на рысях, ориентируясь по солнцу, двинулись на восток.

Близилась сумерки, когда в одинокой кибитке, сказавшейся на пути, нас попотчевали неизменным чаем и разваренным конским мясом. Чай был заварен на листьях, от мяса подозрительно пахло, но и то и другое показалось нам удивительно вкусным. У меня были с собой деньги, тысяч семь царскими деньгами, оставшиеся от полученного жалованья, довольно высокого по тем временам; экономить мне было незачем, и я, желая отблагодарить гостеприимного калмыка, протянул ему несколько кредиток.

На радостях калмык, не привыкший к такому поведению вооруженных русских, подарил мне крохотного медного Будду, и маленькая, но памятная статуэтка эта не один год стояла после окончания гражданской войны на моем письменном столе.

На третий или четвертый день нашего бегства из Чилгира в степи пошел первый снег. Опасаясь шур-

гана, мы поспешили к кибитке, темнеющей на горизонте.

Мы двигались в стороне от тракта; за пять дней нам не попался ни один хотон; одинокие кибитки стояли верст за двадцать друг от друга. И все-таки калмыки бог весть какими путями узнавали о нашем приближении, и ни в одной кибитке никого, кроме женщин, детей и стариков, мы не заставали. Мужчины исчезали с совершенно непостижимой быстротой. Порой это казалось чудом; подъезжаешь к одинокой кибитке, за несколько верст видишь, что ни одна конная фигура от нее не отделялась, а отдернешь кошму, прикрывающую тесный вход, снова внутри нет никого, кроме женщин и какого-нибудь одноногого калеки или ветхого старика.

И в кибитке, в которой мы спасались от снега, не было ни одного мужчины. Не было и женщин; все они, едва начался снегопад, побежали в степь собирать кизяк.

Постепенно кибитка заполнилась... Насытившись калмыцким чаем и бараниной, я, объясняясь больше жестами, предложил хозяевам — окутанной клубами табачного дыма старухе и ее дочери, миловидной калмычке, — продать нам полушубки и теплые шапки с наушниками. Зима явно вступила в свои права, до Волги оставался еще не один день пути, шурган мог нас застать в открытой степи, а в тонкой, подбитой ветром солдатской шинели не очень переночуешь на снегу. Я показал калмычкам пачку кредиток, глаза их жадно блеснули, и торг состоялся. Мы натянули поверх шинелей два поношенных, но теплых еще калмыцких полушубка смешного и непривычного покроя — с огромными, как в старомодных дамских саках, буфами у плеча и с очень узкими у запястья рукавами. Позже я понял, что покрой этот, не стеснявший движений и защищавший от пронизывающего ветра, тесно связан, как и любой калмыцкий обычай, со степью, с ее климатом, с кочевой жизнью. Но тогда в затерянной в заснеженных уже песках кибитке мне было не до этнографических изысканий. Спрятав в карманы ненужные фуражки, мы натяну-

ли на головы калмыцкие треухи; мой украшал пышный красный помпон, и я не сразу догадался, что калмычки всучили мне женскую шапку.

Пока мы переодевались, в кибитке появился первый мужчина — плутоватый, немолодой уже калмык. Начав с неизменного «толмач уга»*, он, постепенно возымев к нам доверие, заговорил по-русски на том ломаном языке, который был свойствен кочевым калмыкам, лишь изредка соприкасавшимся с русскими.

Мы дали калмыку тридцать рублей и попросили его проводить нас до «Васянкина хутора», по его же словам, находящегося верстах в двадцати, не далее. Я был знаком уже с особенностями калмыцкого счета верстам: мерой длины служит «дуна», обычно переводимая с помощью русского слова «верста». На самом же деле расстояние определяет количество выкуренных в пути трубок. А так как запасы табака у калмыка зависят от его зажиточности, то каждый из них определяет расстояние по-своему.

Как-то меня с Борисом вез в Харахусы калмычонок лет пятнадцати, не по возрасту молчаливый и сдержанный мальчуган. Двугорбые отощавшие верблюды, впряженные в линейку, медленно шагали по пескам, потряхивая пустыми кочками. Юный возница нет-нет да постукивал по костлявым спинам верблюдов длинной палкой, заменявшей привычный у нас кнут. Но ни непрерывные удары, ни постоянное «ач, ач!», — крик, которым калмыки понукают верблюдов, не оказывал на них никакого действия, и «корабли пустыни», лишь изредка поворачивая к телеге горбоносые морды и сердито плюясь, все так же равнодушно тащили по пескам поскрипывающую линейку.

— Кеды дуна Харахус? ** — устав от томительно-медленного передвижения, нетерпеливо спрашивали мы возницу.

— Херик ***, — сначала сказал калмычонок.

* Не понимаю; дословно: «Переводчика нет».

** — Сколько верст до Харахус? (калмыцкое).

*** — Двадцать.

— Арген дуна*, — еще через час уронил он.

— Тавун дуна**, — сообщил он, когда зной сентябрьского дня начал уступать место сумеречной прохладе.

И только когда совершенно стемнело, неразговорчивый возница вдруг возбужденно воскликнул «уга дуна!» и радостно запел. Мы въехали в Харахусы, расстояние до которых не имело ничего общего с тем числом верст, на которые ссылался калмычок.

Внезапный снегопад начался еще до полудня. В кибитке мы от силы провозились часа два и потому рассчитывали еще засветло добраться до «Васянкина хутора».

Нанятый в проводники калмык уверенно поскакал по покрытой первым снегом степи. Мы старались не отставать, впервые оценив удивительную выносливость калмыцких лошадей, на которых сделали выше сотни верст и все-таки без труда поспевали за проводником.

Вскоре он перешел на рысь. Пошли широкой рысью и наши неутомимые кобылицы, и мы уже предвкушали заслуженный отдых и сколько-нибудь человеческий ночлег на хуторе.

Обещанные двадцать верст давно остались позади, а хутора не было и в помине. Ориентироваться в заснеженной степи было трудно, но в голову закрадывалось уже подозрение — не обманывает ли нас проводник. Все очевиднее становилось, что он ведет нас то против солнца, то оставляя его за нашей спиной.

На нетерпеливые вопросы о том, где же хутор и сколько до него осталось, проводник неизменно твердил «арбе тавун дуна»*** и показывал рукой куда-то вдаль. Наконец поняв, что вот-вот будет разочлачен, он круто повернул и, перейдя на галоп, поскакал в сторону. Видимо, сбитый с толку нашей

* — Десять верст.

** — Пять верст.

*** — Пятнадцать верст.

одеждой и не зная, за кого нас принимать, он счел за лучшее просто сбежать.

Оставшись одни, мы по только что закатившемуся за горизонт зимнему солнцу определили направление и двинулись на северо-восток. Скоро небо очистилось, ночь обещала быть звездной, а ориентироваться по звездам мы научились накануне, когда Большая Медведица, легко отыскиваемая на небосводе, позволила нам не сбиться с направления.

Теперь мы снова до глубокой ночи ехали по заснеженной степи. Наконец из темноты вырисовался силуэт одинокой кибитки, и мы решили заночевать.

Калмыки спят чутко, и нам не пришлось окликать хозяев. В кибитке загорелся огонек, кошма, прикрывавшая дверное отверстие, откинулась, чьи-то умелые руки услужливо приняли повод, и мы снова вынуждены были прибегнуть к удивительному калмыцкому гостеприимству.

В кибитке было полно; нам очистили лучшее место у запылавшего очага. Никто из находившихся в кибитке кочевников не спросил, кто мы, как не спрашивали и те, кто давал нам приют раньше.

IX

Отряд мятежников, прибывший в Чилгир, возглавлял волостной военный комиссар Цыганков, перешедший на сторону восставшего кулачья.

Отличительной особенностью мятежа, вспыхнувшего в Элисте и стремительно распространившегося на все села и поселки уезда, было то, что заведомо контрреволюционное восстание это шло под флагом Советов и, руководимое кулацкими советами, было направлено против коммунистов и комитетов бедноты.

Поэтому вполне закономерным было и то, что Бориса арестовали, а у меня устроили обыск члены местного Чилгирского Совета; что бумажка, присланная Улан-Эргинским Советом и заманивавшая меня в Улан-Эрге, не была подделкой, а действительно исходила от Совета, но Совет этот уже перешел

на сторону контрреволюции; что поимка меня и расправа с чилгирским комбедом была поручена не кому иному, как волостному военному комиссару.

Героически погибший от рук мятежников элистинский военный руководитель Пастушков был по-настоящему храбрым и до конца преданным революции человеком, но слишком молодым и горячим, чтобы не делать порой чисто мальчишеских глупостей.

В Харахусах придурковатый калмык-«байгуша», притащив в брошенный докторский дом таз с бараниной, внезапно сказал:

— Моя — комиссар. Пастушков назначал.

Поняв, что ему не верят, калмык побежал к себе в кибитку и вернулся с огромным, проржавевшим револьвером «смит-вессон». В конце прошлого века такими длинноствольными крупнокалиберными револьверами были вооружены тюремные надзиратели.

— Пастушков давал. И пуля давал. Вот, — похвастался калмык и начал засовывать в гнезда старомодного своего револьвера трехлинейные винтовочные патроны.

Придурковатый «байгуша» вряд ли выдумал историю своего нелепого назначения улусным военным комиссаром, и я до сих пор не знаю, было ли оно озорной шуткой Пастушкова, или элистинский военрук сделал это с тем же легкомыслием, с каким назначил улан-эргинским комиссаром пустого и крикливого Цыганкова.

С бездельничающим «военкомом» этим, по целым дням слонявшимся по поселку, Борис непонятно как ухитрился завязать приятельские отношения.

В отличие от «комиссара» Харахус Цыганков не располагал самым основным атрибутом комиссарской власти — револьвером; в моем же потертом саквояже валялся где-то конфискованный мною пятазарядный никелированный «бульдог», пользовавшийся в свое время неизменным спросом со стороны дачников, опасавшихся осеннего воровства, и обманутых мужей. Этот никому не нужный, случайно не выброшенный мною револьвер Борис и подарил Цыганкову. Теперь этот изменник поспешил прийти

к своему недавнему другу, посаженному чилгирскими кулаками в «холодную».

Помахав перед носом арестованного дареным «бульдогом», он скучающим тоном предупредил Бориса, что тот будет расстрелян, если мятежникам не удастся меня захватить. Борис осторожно усмехнулся и промолчал. Цыганков ушел, но спустя час снова наведаясь к Борису и, снова повертев перед его носом револьвером, с болезненным любопытством спросил:

— Борис, а Борис, скажи, что ты чувствуешь?

Борис сказал, что ничего не чувствует. Всю ночь Цыганков навещал Бориса, задавая ему один и тот же нелепый вопрос. Наутро Борису сказали, чтобы он захватил вещи и собрался ехать в Улан-Эрге. Когда, окруженный конными мятежниками, он сел в подкатившую к Совету тачанку и закутался в оставленную мною кавказскую бурку, к нему сквозь усиленный конвой пробился счетовод Кораблев, с которым Борис со свойственной ему склонностью к быстрой дружбе, тоже успел войти в приятельские отношения.

— Послушай, Борис, — торопливой скороговоркой попросил счетовод, — отдай мне бурку. Тебя ведь все равно расстреляют, а она пропадет, — привел он самый убедительный свой аргумент.

В угрожающий ему расстрел Борис не верил, арестовавшие его чилгирские кулаки и прискакавшие позднее мятежные фронтовики довольно миролюбиво обращались с ним, полагая, что с рядового агента Мясного отдела взятки гладки.

Действительно, вернувшись в Улан-Эрге, мятежники отправили Бориса на прежнюю нашу квартиру, в дом Григория Носкова, а еще через день он без труда подрядил подводу и выехал в Астрахань.

Ничего этого я не знал и по-прежнему волновался за его жизнь.

«Васянкин хутор», до которого мы, наконец, добрались, ничем нас не порадовал. Отыскавшийся в пустующей мазанке угрюмый калмык твердил неизменное «толмач уга».

Мы выехали в степь и вскоре оказались во власти внезапно налетевшего шургана.

Шурган надо видеть и пережить. Неожиданно, как бы ни с того ни с сего налетевший ветер с дьявольской силой гонит перед собой огромное количество слепящего снега; холод пронизывает насквозь; даже самая теплая одежда не защищает от ледяного дыхания шургана. Во время особенно свирепых шурганов у калмыков несколько раз почти полностью вымерзал скот.

Такой вот неистовый шурган захватил нас со Штоколовым в степи, когда мы отъехали от «Васянкина хутора» достаточно далеко, чтобы суметь сразу же вернуться в теплую мазанку. Прошло несколько минут, и мы уже ничего не видели в слепящем снежном потоке, с чудовищной силой обрушившемся на степь. Нас спас счастливый случай: умные лошади сами вышли к калмыцкому хурулу.

Едва ли не ощупью мы отыскиали в высокой глухой ограде буддийского храма наглухо закрытые ворота и яростно забарабанили в них прикладами, не решаясь соскочить на землю. Нам открыли. Мы въехали в занесенный снегом двор; манчжики в ярко-красных халатах приняли от нас лошадей и провели нас в дом — мы попали к старшему гэлуну Малого хурула Макану.

Подобно калмыкам из глухих кочевий, в которых мы находили вынужденный приют, Макан вряд ли понял, кто мы.

Надетые на нас расшитые, но заношенные калмыцкие полушубки и нелепые треухи, подвязанная ремешком подушка вместо седла под Штоколовым и алый женский помпон над моей головой — все это в сочетании с винтовками за спинами, браунингом и кавказским кинжалом на моем поясе было настолько непривычно, что старший гэлун на какое-то мгновение отказался от восточного бесстрастия, написанного на его монгольском лице. Впрочем, он тотчас же овладел собой и радушно провел нас к себе в комнату.

Обилие малых и больших «бурханов» *, длинный, до пят, ярко-желтый халат Макана, напоминающий женский капот, пестрый молитвенный барабан, стоящий в углу, множество ярко раскрашенных предметов религиозного назначения говорили о том, что мы попали к настоятелю буддийского монастыря. Мы это поняли еще до того, как кто-то из знавших русский язык служек объяснил, какое высокое духовное лицо оказывает нам гостеприимство. В хуруле нас приняли за отбившихся от своих белых, и мы не стали разочаровывать Макана. Угостив нас отменным калмыцким чаем, отлично зажаренной бараниной и хрустящими коржиками, он принялся то через переводчика — гэцула, то подбирая русские слова сам, жаловаться на Жлобу, конники которого как раз накануне побывали в хуруле и, порядком поозоровав в нем, забрали несколько коров и с десятков баранов.

В самом деле, конники, ограбившие Малый хурул, были не жлобинцами, а разложившимися партизанами, докатившимися до бандитизма. Но защищать честь Жлобы перед настоятелем Малого хурула мы не стали, как не подумали и о том, чтобы сказать ему, кто мы. Явно считая нас белыми и нисколько не обескураженный тем, что на наших гимнастерках не оказалось офицерских погон, Макан в приступе внезапной откровенности вытащил из молитвенного барабана где-то раздобытый им револьвер.

Неожиданная дружба наша крепла с каждой минутой. Еще немного, и, вытащив из того же молитвенного барабана колоду карт, Макан предложил сыграть в «двадцать одно». Русское название азартной карточной игры он произнес совершенно отчетливо и чисто, а сев играть, начал щеголять такими привычными для игроков выражениями, как «три сбоку», «ваших нет», «по банку» и т. п.

За стенами хурула завывал шурган; в комнате было жарко натоплено, потрясенные вниманием, которое нам оказывал сам настоятель, гэцулы и манчжики, время от времени появлявшиеся на пороге,

* Статуэток, изображающих Будду.

поспешно срывались с места для того, чтобы то поднести уголек к моей погасшей трубке, то принести чашки с заново сваренным чаем, то еще какой-нибудь мелкой услугой подчеркнуть свое особое к нам расположение.

Горячий поклонник Джека Лондона, я воспринимал тогда этот декабрьский вечер, проведенный за картами в калмыцком хуруле, как занятнейший материал для будущего рассказа или повести. Мне казалось, что необычное в революции поможет мне, если удастся пережить гражданскую войну, найти свой собственный стиль в литературе, о которой, как будущей своей профессии, я настойчиво и упрямо мечтал.

И действительно, вряд ли можно было в ту пору подобрать более своеобразных партнеров: уполномоченного Наркомпрода, задолжавшего элистинскому кулачью свыше миллиона и тщетно разыскиваемого мятежниками; бежавшего от кулацкой расправы председателя укома и связанного с белыми старшего гэлуну Макана, настоятеля Малого хурула.

Мы играли допоздна. Я проиграл около трехсот рублей и сделал это умышленно; меня забавляла бурная радость, которую проявлял хитрый и коварный гэлун каждый раз, когда ему удавалось бить мою карту. Штоколов играл осторожно и остался при своих.

Остаток ночи мы провели в сладчайшем сне на мягких кошмах.

Наутро после обильного завтрака Макан приказал черноглазому веселому манчжику проводить нас до Тундутова.

Шурган прошел. Небо очистилось, покрытая глубоким снегом степь полыхала в розовых лучах медленного зимнего солнца. Манчжик в пунцовом, вспыхнувшем на солнце халате как бы прирос к спине рыжей кобылы. Он пронзительно гикнул и, не помышляя о дороге, понесся через степь. Мы помчались за ним. Я следил за приметами, по которым манчжик так уверенно находил путь, но кругом, куда ни кинь глазом, лежал искрящийся на солнце снег,

и я не заметил ничего, что могло бы помочь отыскать невидимую тропу. И все же веселый наш проводник ни разу не сбился с дороги, и мы еще засветло прибыли в Тундутово.

Об охватившем Элистинский уезд мятеже здесь даже не знали. Мы наскоро, пока запрягали в тачанку пару свежих лошадок, рассказали в местном комбеде о трагической гибели Тулака и Пастушкова. После пяти суток, проведенных в седле, было на редкость приятно разлечься на сене, густо набитом в удобный и просторный возок. Кобылу свою вместе с седлом я подарил комбеду.

Заночевали мы уже на Волге в широко раскинувшемся на правом ее берегу Соленом Займище.

В доме, в котором сельский Совет отвел нам ночлег, нас встретили с явной враждой. Я предложил хозяйке денег и попросил сварить нам курицу, она отказалась под каким-то нелепым предлогом, и мы легли спать на голодный желудок. Не покормили нас и утром, хотя в большом богатом селе не было недостатка ни в хлебе, ни в молоке, ни в тех же курах, заполнявших любой крестьянский двор. Я попробовал пройти по домам в поисках чего-нибудь съестного, предлагал деньги — столь излюбленные здешним мужиком царские кредитки, и не смог раздобыть ничего съестного.

Снег продолжал падать, в Черный Яр мы въехали уже на санях. Уездный комитет партии заслушал нас на специально созванном заседании: мы были первыми, кто мог рассказать о мятеже, о котором здесь ходили лишь смутные слухи.

В Черном Яру я расстался со Штоколовым, и мы потеряли друг друга из виду. Кажется, он уехал в Царицын и навсегда порвал с Астраханью, а мне пришлось принять участие в обороне ее от белых.

Ночуя в случайных кибитках во время бегства от кулацкого мятежа, я обовшивел настолько, что председатель чернойярской Чека, с которым мы познакомились в укоме, потащил меня к себе и с грубоватой заботливостью сказал:

— Ты вот чего, друг! Погляди-ка, что у нас тут из буржуйского добра осталось, и себе отбери. А свое выбрось!

«Запасы» чернойярской Чека были очень ограничены, но кое-что из носильных вещей, конфискованных у местной буржуазии, пришлось мне впору, и вслед за полушубком и треухом, с которыми я расстался еще в Тундудове, были выброшены и нательное белье, и сменная на стеганую телогрейку гимнастерка, и серые от степных вшей шаровары.

Волга уже стала, но переезд через нее и многочисленные протоки, кое-где полные волжской воды поверх льда, занял немало времени, и я лишь затемно попал в Петропавловку — небольшой поселок на левом берегу.

Спать я устроился в Совете на одном из канцелярских столов. На другом лежал председатель Совета, возглавлявший и местную Чека, сразу понравившийся мне парень из промысловых рабочих, не шибко грамотный, но до всего доходивший своим умом и все время мечущийся в поисках настоящей правды.

Лежа на столах, мы допоздна проговорили о том, что больше всего волновало председателя, — о положении в уезде и крае, о все еще имеющем место кулацком засилье в Советах, о ловкачах и проходимцах, пролезавших порой в комиссары, о Москве и Питере, в которых я не так уж давно был и где никак не представляют себе, что творится в таких глухих местах, как Калмыцкая степь или Черноярский уезд.

Разговор наш затянулся до петухов.

Наутро, усаживая меня в сани, председатель вспомнил наши ночные разговоры и внезапно спросил:

— Ты ведь из студентов?

— Я ж тебе говорил, что студент.

— А в университет свой думаешь ворочаться? Конечно, опосля, когда порядок наладим...

— Вряд ли...

— А я беспрременно учиться пойду... Ежели в живых останусь... Ну, ладно, езжай! — попрощался

председатель и, ежась от холода, так как был в одной гимнастерке, поспешил в Совет.

Дни стояли по-зимнему короткие, сумерки спускались рано, и к железной дороге, не то в Баскунчак, не то в Ахтубу, я подъехал уже в темноте.

Поезд на Астрахань раньше завтрашнего дня не предвиделся и, отыскав Совет, я попросил ночлега.

— Звеняюсь. Отличная фатера есть. Тут поблизу, — подобострастно сказал секретарь Совета, разоблачая в себе бывшего волостного писаря. — Только комиссар там поставленный. Проезжающий. Сердитый, страсть...

— Ну и черт с ним, что сердитый! Продрог, — сказал я и приказал отвести меня в квартиру, где уже остановился неведомый «комиссар».

В домишке, куда привел меня услужливый писарь, было темно. Стараясь не удариться в темноте о мебель, я осторожно вошел в комнату.

— Кого это тут носит нечистая сила? — раздался сердитый голос, показавшийся мне удивительно знакомым.

Я чиркнул спичкой и в короткой вспышке неяркого пламени увидел некрасивое, с плоским носом, но показавшееся таким родным лицо Денисова.

— Ваня? — обрадованно крикнул я.

— Илья! — узнал меня Денисов.

Мы обнялись и расцеловались, обрадованные одной из тех совершенно случайных и кажущихся неправдоподобными встреч, которыми так богата была полная неожиданностей, затянувшаяся на несколько долгих лет и охватившая всю нашу гигантскую страну великая гражданская война.



ТРИСТА ЧЕТВЕРТЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ...

I

В назначенный день вместе с Борисом Левиным я явился на призывной пункт Астраханского губернского военкомата.

Под Царицыном шли ожесточенные бои, судьба самоотверженного города, не раз отражавшего атаки белых казаков, была предрешена, захват же его «Добровольческой армией» лишал Астрахань основной ее коммуникации — Волги и ставил оборонявшие ее устье большевистские части в крайне тяжелые условия. Поэтому по инициативе Сергея Мироновича Кирова,

возглавлявшего в то время оборону Астрахани, в городе была объявлена добровольная мобилизация «коммунаров и всех сознательных рабочих», — этой патетической фразой астраханцы характеризовали тогда еще одно усилие партии в ее героической борьбе с белыми и интервентами.

Я собирался пойти в пехоту, Борис настаивал на том, чтобы записаться в конницу. В царской армии он некоторое время служил в артиллерии, привык к лошадям и, как всякий артиллерист, «презирал» пехоту. Я не стал спорить, хотя служба в стрелковых частях представлялась мне более заманчивой.

Как и все добровольцы, явившиеся в военкомат, я зачислялся в армию рядовым. Мне не было и двадцати двух лет, проведенный в степях год был связан со многими опасностями и лишениями, фронта я не боялся и сознательно шел на те трудности, с которыми была связана красноармейская служба.

Зачисление в действующую армию не заняло много времени. Нас с Борисом отправили в распоряжение комиссара 34-й стрелковой дивизии — единственного пехотного соединения, которым располагала заново формирующаяся армия; кто-то из штабных писарей записал нас в 4-й Отдельный кавалерийский дивизион, и, переодевшись в выданное еще в военкомате солдатское обмундирование, мы зашагали на Казачий бугор — так назывался находившийся верстах в семи от Астрахани поселок, в котором стоял наш дивизион.

Не припомню теперь, почему первая воинская часть, в которую меня зачислили, носила это необычное для кавалерии название. По принятой в армии терминологии кавалерия знала лишь эскадроны или сотни и полки, дивизионами же назывались отдельные части артиллерии, как правило входившие в состав стрелковых дивизий.

4-й кавалерийский дивизион только формировался. Около запущенных двухэтажных домов толпилось человек триста бывалых конников; первый эскадрон был еще кое-как укомплектован, второй, в который

попал Борис, и пулеметная команда, куда был зачислен я, почти не имели бойцов.

Не было еще в дивизионе ни лошадей, ни пулеметов. Комиссар дивизиона, моложавый кубанец, обрадовавшись «политическому» пополнению, поспешно назначил меня и Бориса политруками подразделений. К сожалению, в дивизионе делать пока нам было нечего и, кое-как пообедав супом из разваренной соленой воблы и пшенной кашей, чуть сдобренной подсолнечным маслом, мы вернулись в город.

Ежедневное, довольно бессмысленное хождение на Казачий бугор продолжалось дней пять. На шестой рано утром Борис явился ко мне и одинаково удивил меня и своим ранним появлением и тем, что был уже переодет в летнюю бумажную гимнастерку цвета хаки, такие же шаровары и тяжелые ботинки с обмотками.

— Я задержался вчера в дивизионе, — сказал Борис, — и неожиданно дождался приказа. Первый эскадрон сегодня вечером уходит на фронт под Царицын. На всякий случай я записал и тебя...

Ни слова не говоря, я начал возиться с дурацкими своими обмотками — короткие и неправильно скроенные, они сползали с икр.

Через десять минут в нескладном солдатском обмундировании и с тощими вещевыми мешками за плечами мы шагали по изнемогавшим от зноя и словно вымершим астраханским улицам. Уже по дороге Борис рассказал, что сегодня в дивизион пригонят лошадей, а вечером на пароходе эскадрон уйдет под Царицын, который вот-вот может пасть...

Бориса не обманули. Едва мы добрались до дивизиона, как туда пригнали сотни две лошадей, не то реквизированных, не то закупленных военным ведомством.

Выпасавшиеся где-нибудь в степи и уже порядком одичавшие, лошади эти заполняли теперь сколоченный из прочных досок загон. Бойцы первого эскадрона, среди которых было немало бывалых кавалеристов, разбирали коней, выбирая в табуне тех, которые почему-либо больше приходились по вкусу.

В каптерке уже выдавались седла. Оставшиеся от мобилизационных запасов новенькие драгунские седла были получены только накануне и прибыли в разобранном виде. Выбрав коня, бывалый конник отводил его в сторону и, привязав к коновязи, шел за седлом. Сборка седла, несмотря на обилие всяких деревянных, кожаных и металлических частей, в умелых руках шла довольно быстро, и на моих глазах табун степных «неуков», ошалело носившихся по загону, превращался в сразу присмиривших от двойных мундштуков и хорошо подтянутой подпруги умных кавалерийских лошадей.

Не очень мешкая, выбрал себе резвую гнедую кобылу и Борис. Куда хуже дело обстояло со мной. Находившиеся в загоне лошади были даже не взнузданы, и я, честно говоря, боялся к ним подойти.

Бежав из Калмыцкой степи, я дней пять или шесть не вылезал из седла. Поняв, что гражданская война, развернувшаяся в России, рано или поздно потребует от меня кавалерийских навыков, я решил научиться верховой езде и занялся этим на свой страх и риск. Учить меня было некому, и о правильной посадке или о взятии на коне барьеров и других препятствий я и не помышлял, — мне надо было лишь научиться крепко сидеть в седле, и кое-чего в этом отношении я достиг.

В том, что справлюсь с конем, если окажусь на его спине, я не сомневался. Но вот отогнать от табуна невзнузданную, одичавшую лошадь я не мог и, переждав, пока почти весь табун не был разобран бойцами, наконец-то накинул уздечку на низкорослого, но зато очень миролюбивого киргизского конька.

Облюбованный мною каурый конек послушно стал рядом с кобылой Бориса; оставалось лишь получить седло.

Я пошел к каптенармусу, хамоватому и наглому, и он швырнул мне ворох не очень понятных деревяшек, кожаных лоскутков и ремней.

С помощью Бориса я кое-как собрал седло. Пока я этим занимался, стемнело, эскадрон, назначенный к выступлению на фронт, начал строиться, и вот

тут-то оказалось, что в моем седле нет то ли путлиц, на которых держатся стремяна, то ли покрышек, без которых под всадником торчит лишь голый ленчик.

Я сунулся к каптенармусу, но его нигде не оказалось. Эскадрон уже двинулся к пристани, и я чуть не заплакал от обиды.

— Ну, если так, то я тоже останусь, — великодушно предложил Борис.

Мы пошли к комиссару дивизиона, и он очень обрадовался, что никто из нас не уходит с эскадронам.

— По правди казаты, — сказал кубанец, — я не собираюсь вас отпускати, але ни з ким працювати. А коли так, то хай так и буде...

Однако удержать нас в дивизионе ему не удалось. Еще через день меня вызвали в политотдел Астраханского района. Начальником его был заметно поседевший и грузный Буду Мдивани, старый грузинский большевик.

— С офицерами умеешь ладить? — непонятно почему спросил он, проглядывая заполненную мною при мобилизации анкету. — Ты ведь юнкер, кацо? Из студентов? — продолжал он свои не очень понятные расспросы.

— Студент. Московского императорского... — стараясь быть по-военному точным, подтвердил я. — Ушел со второго курса юридического...

— Юнкер... Студент... Вот это как раз то, что нам нужно, — в раздумье повторил Буду Мдивани и предложил мне принять должность комиссара 5-го Отдельного запасного батальона.

Из сотрудников политотдела в памяти больше других остался добродушный Козлов, вскоре сделавшийся секретарем Кирова, немолодой уже рабочий, которого все почему-то называли попросту Митей. Он кое-как объяснил мне, что Запасный батальон насчитывает около трех тысяч мобилизованных красноармейцев и расквартирован в построенных около вокзала еще во время минувшей войны бараках для военнопленных немцев и австрийцев. На укомплектование его послано уже свыше ста призванных в Красную Армию бывших царских офицеров. Все осталь-

ное, связанное с моим новым назначением, мне было предложено выяснить на месте.

Скорее инстинктивно, нежели в силу каких-либо осмысленных доводов, я решил, что отправляться в Запасный батальон в том виде, в каком я появлялся на Казачьем бугре, негоже. Сравнительно приличные, но с прохудившимися подметками сапоги к этому времени вернулись от чинившего их сапожника, сохранилась у меня и юнкерская суконная гимнастерка и еще вполне сносные галифе, кто-то из товарищей снабдил меня офицерской портупеей с тугими наплечными ремнями, даже со свистком, и, поглядев на себя в зеркало, я увидел молодого, но старше моих лет человека, смахивавшего на поручика или на штабс-капитана военного времени. Едва окончив гимназию, я начал отращивать бороду, и это придавало мне такой бывалый офицерский вид.

Запасный батальон произвел на меня самое удручающее впечатление. Около обветшалых, покрытых обшарпанным толем деревянных бараков толпились люди в измятом солдатском обмундировании. Редко какой солдат подпоясан. Поясной ремень, чаще сделанный из прошитого брезента, либо утерян, либо повешен на шею. Обмотки накручены кое-как. Иной идет, и за ним тянется вываливавшаяся в пыли, размотанная обмотка; у других, кроме порыжелых, незнакомых с сапожной мазью ботинок и нескладных шаровар, на ногах ничего нет. Тесемки этих шаровар либо развязаны, либо оторваны напрочь; ворот пропитанной потом, колом стоящей бумажной гимнастерки обязательно расстегнут, пуговиц нет и в помине. Кое-где в этой беспорядочной толпе мелькали ладные гимнастерки и френчи — это-то и были те «бывшие» офицеры, о которых меня предупредили в политотделе.

Комиссар батальона, от которого мне надлежало принять дела и должность, оказался молодым рабочим пареньком. В Запасном батальоне с ним не только не считались, но никто из командиров и красноармейцев толком его и не знал. Ничего похожего на «дела» не было, передавать ничего не пришлось.

Неприятное впечатление производил командир Запасного батальона. Фамилия его, словно в насмешку, была Молодцов. Был он не то из поручиков, не то из штабс-капитанов. Вопреки обязывающей фамилии, ни одной не только «молодецкой», но и деловой черточки в нем не обнаруживалось. Вялый, ничем не интересующийся, во всем поспешно соглашавшийся, он являл собой типичную фигуру мобилизованного в «непонятную» большевистскую армию царского офицера. Он, как и многие его товарищи, панически боялся Чека, решительно ничего не понимал в том, что происходит в стране, и был бы счастлив, если бы его оставили в покое. Было ему лет около тридцати; с багровым, налитым кровью лицом и покрасневшими глазами, чаще небритый и растрепанный, всегда какой-то сонный и малоподвижный, он отсиживал в отведенной в одном из бараков под кабинет комнатухе положенные часы и исчезал из Запасного так же незаметно, как и появлялся.

Спустя день или два я получил представление и об остальных присланных в батальон офицерах.

Слух о назначении нового комиссара мгновенно распространился по баракам. Я не успел еще отдышаться после быстрой ходьбы, ибо от политотдела до Запасного было порядочно, а меня уже окружили мобилизованные. Посыпались жалобы.

Довольно скоро я понял, что мобилизованные были правы в своих обидах. В Запасном батальоне никто как следует не занялся ими. Нар в бараках почти не было, кухня работала из рук вон скверно, ни сахарное, ни табачное «довольствие» не было выдано.

Русский солдат обладает исконными замечательными свойствами. Народная мудрость говорит: «Которая служба нужней, та и честней». И вот эту-то нужную службу русский человек готов нести, не щадя своей жизни и не боясь никаких лишений.

Но ни у кого так не развито прирожденное чувство справедливости, как у того же солдата. И те, кому приходилось подолгу жить в солдатской среде, отлично знают, как болезненно относятся солдаты

к малейшему нарушению их маленьких, но бесспорных прав.

«Отдай, что положено», — это солдатское требование хорошо известно каждому, кто имел дело с солдатом, и горе тому командиру, кто позабыл об этом.

Поэтому-то моя комиссарская работа в Запасном и началась с проверки каптерок. Жалобы подтвердились, удовлетворить законные требования мобилизованных было не трудно, и в бараках довольно скоро наступило заметное успокоение.

II

В Запасном батальоне скопилось свыше сотни только что мобилизованных офицеров старой армии. Бывшие прапорщики, подпоручики, поручики, реже штабс-капитаны и капитаны — все они донашивали старое свое офицерское обмундирование; на выцветших гимнастерках и френчах темнели так и непроходившие полосы от срезанных погон, и такой же темный кружочек был на околыше офицерской фуражки в том месте, где еще не так давно белела выпуклая кокарда.

В привокзальные бараки бывшие офицеры эти были направлены прямо из астраханской Чека, в подвалах которой им пришлось посидеть как заложникам после мартовского контрреволюционного мятежа.

Контрреволюционный мятеж этот, вспыхнувший в Астрахани в марте 1919 года, был одной из наиболее наглых попыток английских империалистов вмешаться во внутренние дела Советской России.

Через своих многочисленных, исподволь завербованных тайных агентов, набранных из белогвардейцев, меньшевиков, эсеров и всякого человеческого отребья, англичане сыграли на настроениях отсталых слоев населения и мелких торгашей, заселявших район Татарского базара, и подняли мятеж, ставивший своей целью свержение советской власти в городе и крае. Удайся задуманный мятеж, устье Волги оказалось бы в руках белых и интервентов, уже обосновавшихся в Баку, Дагестане и Гурьеве, и недоби-

тый еще Колчак получил бы возможность соединиться с наступающим с востока Деникиным.

Планы заговорщиков, однако, стали известны Астраханскому губкому партии. Под председательством С. М. Кирова был организован Временный Военно-революционный комитет, к которому и перешла вся полнота власти в городе и крае. Губернский комитет большевистской партии возглавляла тогда опытная подпольщица Нина Колесникова, активная участница революции 1905 года, в прошлом народная учительница.

Сюда, в устье Волги, Нина Колесникова, как и многие товарищи, попала из захваченного англичанами Баку, в котором работала еще в подполье.

Сергей Миронович Киров, надежной помощницей которого была в первые месяцы героической обороны города крепкая большевичка Колесникова, высоко ценил ее выдающуюся энергию, политическое чутье и умение организовать народные массы*.

Широкой популярностью в городе пользовались местные большевики Трусов, губвоенком Чугунов и Аристов.

Запомнился мне по Астрахани еще один старый большевик — И. Липатов, в те годы председатель Астраханского губисполкома.

Члены городской партийной организации и наиболее сознательные рабочие были поставлены под ружье и переведены на казарменное положение; по заранее разработанному оперативному плану на магистралях, имевших наибольшее стратегическое значение, были организованы пулеметные гнезда и заставы. Мятеж, вспыхнувший в районе Татарского базара, так и не смог распространиться, господствующая над городом Крепость и центральные районы Астрахани остались в руках Военно-революционного комитета. Штаб мятежников, обосновавшийся в доме одного бежавшего к белым купца, был разгромлен моряками Волжско-Каспийской флотилии из судовых орудий; скопившиеся на окраинах города вооружен-

* Ныне Нина Колесникова живет в Москве и, несмотря на преклонный возраст, ведет большую научную работу.

ные мятежники рассеяны отрядами коммунистов и рабочих.

Деятельное участие в подавлении мятежа принимал и легендарный ныне чекист Георгий Атарбеков, в то время возглавлявший астраханскую Чека. Заблаговременно раскрыв тайные планы заговорщиков, он с беспощадностью настоящего революционера расправился с инициаторами и вдохновителями контрреволюционного мятежа.

На мартовский мятеж возлагали большие надежды не только английские империалисты, но и многочисленные враги советской власти, притаившиеся на советской земле. Характерно, что наряду с английскими оккупантами руководством мятежа занималось и находившееся в Ростове-на-Дону южно-русское бюро партии правых эсеров — этих наиболее злобных и непримиримых врагов Октября.

Хотя составленный Атарбековым и утвержденный Военно-революционным комитетом список подлежащих расстрелу зачинщиков и наиболее активных участников контрреволюционного мятежа состоял из бывших рыбопромышленников, домовладельцев, купцов, царских генералов и заведомых английских шпионов, оставшаяся в Астрахани английская агентура долго еще муссировала клеветнические слухи о том, что Атарбековым при попустительстве Кирова якобы расстреляно несколько сот астраханских рабочих. На самом деле ни один рабочий, даже если он по неосторожности и примкнул на какое-то время к мятежникам, не был расстрелян.

Но вернусь к Запасному батальону.

Я начал с того, что собрал всех присланных в батальон офицеров.

— Молодая Советская республика осаждена, но белым и интервентам все равно не победить освобожденного народа, — сказал я. — Правда, Царицын пал и Волга перерезана. Но на Восточном фронте мы уже добиваем Колчака, Брестский мир аннулирован, в Германии идет революция, и нельзя сомневаться, что она победит и в остальном капиталистическом

мире. Теперь на помощь внутренней контрреволюции, с которой мы давно справились бы, пришла Антанта. Деникин, Колчак и другие белогвардейские генералы получают непрерывную помощь и инструкторами, и оружием, и снаряжением. Поэтому партия и решила создать регулярную армию.

— Я бывший юнкер Владимирского военного училища и хорошо знаю, что такое военная служба, — продолжал я, хотя на самом деле имел о ней лишь смутное представление.

— Я требую от вас, чтобы все в Запасном батальоне было так, как в настоящей армии, — я говорю о дисциплине и внутреннем распорядке. Имейте в виду, что мы, — я обернулся к рядом сидевшему Молодцову, — будем взыскивать не с красноармейцев, а с командиров за любое нарушение уставов Красной Армии. Кстати, все ли знакомы с новыми уставами?

Никто не ответил, да и до уставов ли было всем этим недавним заложникам.

— Вы хотите что-нибудь добавить? — спросил я у Молодцова.

— Я? — удивился он. — Нисколько...

На налитом кровью лице его не было написано ничего, кроме крайнего недоумения, — командир батальона, как всегда, хотел лишь, чтобы его оставили в покое.

— Тогда на этом и закончим. Можете быть свободны, товарищи.

Уставы, на которые я ссылался, лежали в моей полевой сумке, и я с ними не расставался. В юнкерском училище никто не мог заставить меня, юнкера, считавшего себя большевиком, взяться за них. Теперь я с упоением перечитывал уставы внутренней и гарнизонной службы. Полевой я покамест отложил, он мне еще не был нужен, да я его, конечно, и не знал. Но остальные...

Впервые в жизни я понял, как, в сущности, умно устроена армия, вековой опыт которой уложен в предельно точные и скупые статьи уставов и кажущиеся со стороны скучными графы штатных расписаний. Штаты с предельной четкостью говорили о том, где

и кто должен находиться, уставы — о том, кто и что должен делать.

Переговорив с Молодцовым, с прежним безразличием соглашавшимся со всем, я составил приказ, в котором от имени командира Запасного батальона предложил начать во всех подразделениях строевые занятия.

Никто не станет строиться, маршировать и перестраиваться на захламленном дворе, спотыкаясь о груды мусора, отбрасывая ногой пустые консервные банки или рискуя угодить в непросыхающую, несмотря на астраханскую жару, многолетнюю лужу. Огромный пустырь, на котором стояли бараки, преобразился, — чего-чего, а свободных рабочих рук у нас было через край.

Начались строевые занятия.

— На первый-вто-ро-й рас-счи-тайсь!.. По пор-ряд-ку номеров рас-счи-тайсь!.. На лево-п. К но-гип, — раздавалось там, где вчера ничего, кроме жалоб на мобилизацию или похабных солдатских анекдотов, нельзя было услышать.

Но на занятия выходили немногие. Красноармейцы из старых фронтовых солдат считали, что их нечему и незачем учить. Никогда не служившая в армии молодежь не видела смысла в том, чтобы часами повторять какие-то однообразные, кажущиеся бессмысленными движения.

Я понимал, что либо сразу же заставлю батальон слушаться командиров, либо ничего не смогу поделать с этой трехтысячной вольницей, одетой в защитное солдатское обмундирование.

Понимал я и другое: воинская дисциплина строится снизу, а не сверху, и требовательность отделенного играет не меньшую роль, нежели взыскательность командира полка или дивизии.

В 5-м Отдельном запасном батальоне было три батальона, девять рот, двадцать семь взводов. Бывших офицеров хватило бы, если бы мы их начали назначать даже отделенными. Были присланы к нам и фельдфебели и подпрапорщики, мобилизованные особым приказом. Среди мобилизованных солдат бы-

ло немало и унтер-офицеров. Надо было пустить в ход все эти мелкие, но важные рычаги военного воспитания.

Бывшие офицеры и фельдфебели, занимавшие в Запасном командные должности, жили на городских квартирах. Запрещение отлучек из расположения батальона на три, на пять дней было безобидным, но очень чувствительным наказанием, и я начал широко применять его, «взгревая» того или иного ротного или взводного командира то за появление на дворе подчиненного ему красноармейца без поясного ремня и обмоток, то за уклонение бойца от строевых занятий, то еще за какой-либо проступок подчиненного, на который командир не обратил внимания.

Необходимо было применить какие-то дисциплинарные меры и к красноармейской массе. И тут на помощь должен был прийти полковой суд.

По приказу Реввоенсовета республики полковые суды выбирались всеми военнослужащими части путем открытых прямых выборов; они судили за все воинские преступления и могли присудить виновного к тюремному заключению сроком до пяти лет.

В Запасном батальоне председателем полкового суда был избран служивший еще в царской армии красноармеец Родионов. Два остальных члена полкового суда были тоже из мобилизованных — беспартийные, как и Родионов, солдаты, не так давно вернувшиеся с германского фронта.

В моей памяти сохранилось лишь два-три случая, когда красноармейцев предавали полковому суду; проступки их не были столь серьезными. И все же полковой суд сыграл большую роль в укреплении воинской дисциплины.

Но было совершенно очевидно, что создать дисциплинированную и боеспособную часть Красной Армии, армии нового типа, только при помощи дисциплинарных взысканий, полковых судов и трибуналов нельзя. Каждый красноармеец должен был знать, за что он борется, почему терпит лишения, за что отдает здоровье и даже жизнь. Надо было отыскать

среди мобилизованных коммунистов, которые повели бы политическую работу в Запасном батальоне. Но в этом отношении мы были в заведомо трудном положении.

Рабочей прослойки в батальоне почти не было, подавляющее большинство красноармейцев были мобилизованные крестьяне либо Енотаевского уезда Астраханской губернии, либо Вольского—Саратовской.

Назначив общее собрание коммунистов, я оповестил об этом батальоны и роты. На собрание пришло человек пятнадцать, в большинстве своем молодежь. Секретарем партийной ячейки был выбран молодой паренек Федин с бронзовыми, как у Блока, кудрями и, как оказалось потом, тоже мечтатель и поэт.

Кое-кого из мобилизованных коммунаров прислал в Запасный и политотдел, и в ротах, наконец, появились политруки.

Душой партийной организации Запасного батальона стал Федин. Я никогда не видел такого святого юноши в самом лучшем, коммунистическом смысле этого слова.

Сын вольского врача, гимназист восьмого класса местной гимназии, он со всем пылом юной души навсегда уверовал в коммунизм. Все мы в ту пору переоценивали сроки победы коммунизма во всем мире, но Федин был настолько уверен, что мировая революция — дело завтрашнего дня, что обругал бы маловером и нытиком всякого, кто усомнился бы, что доживет до этого счастливого момента. От пылкой веры этой Федин и выступления свои и проекты резолюций партийных и беспартийных собраний начинал неизменной ссылкой на «уже побеждающую во всем мире мировую революцию» и заканчивал обязательной здравицей в ее честь.

По молодости своей мы меньше всего думали о собственном здоровье и уж никак не умели заботиться о товарищах. Федин был высокий, узкогрудый паренек с сияющими глазами на обильно усеянном веснушками продолговатом лице, с женственными, нежными руками, не знакомыми с физическим трудом, и мягким, располагающим голосом. Больше все-

го он боялся, как бы мы не заметили, что его гложет тяжелый недуг. Лишь много позже и, конечно, не от Федина, я узнал, что у него туберкулез и что эту страшную в его возрасте болезнь он скрыл от уездного военкома, лишь бы попасть в Красную Армию.

В семье, живущей с достатком, он не испытывал и ничтожной доли тех трудностей и лишений, с которыми столкнулся в Запасном батальоне, а затем и в 304-м полку. Не один месяц он жил в казарме, спал на двухэтажных нарах, был, как и другие красноармейцы, лишен и молока, и жиров, и мяса, то есть именно того, что так необходимо было ему при туберкулезе легких, чуть ли не сутки проводил на ногах и, конечно, таял на глазах у товарищей, слишком молодых и эгоистичных, чтобы это заметить.

При всей своей горячей и самоотверженной вере в коммунизм и в большевистскую партию Федин имел еще более смутное, нежели я, представление о марксизме и основах ленинского учения. Остальные коммунисты, входившие в состав нашей небольшой ячейки, зачастую не знали даже партийной грамоты. Однако мы неплохо вели пропагандистскую работу среди солдат, многие из которых — мобилизованные крестьяне находились во власти самых нелепых, порой чудовищных представлений о сущности большевизма и задачах осуществившейся в стране революции. Кулацкая, а то и эсеровская пропаганда кормила их в родных деревнях и селах всевозможными провокационными рассказами.

Этой кулацкой и эсеровской пропаганде надо было противопоставить простые и честные рассказы о том, с кем и за что борется советская власть. А с этим делом коммунисты Запасного батальона отлично справлялись.

Но недостаток знаний, конечно, угнетал нас и в первую очередь меня, отлично понимавшего, какую высокую честь оказывает мне партия, доверив политическое воспитание нескольких тысяч солдат и командиров. С помощью политотдела можно было доставать кое-какую литературу, в батальоне завелась

библиотечка, и, несмотря на крайнюю занятость, я жадно накинулся на книги.

В обветшавшей записной книжке, датированной девятнадцатым годом, сохранился список прочитанной мною за два месяца литературы. Здесь и Ленин: «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», «Пролетарская революция и ренегат Каутский», тут и «Борьба за раздел черного континента» и «Французский империализм» М. Павловича (Вельтмана), и «Социальная революция» и «Этика и материалистическое понимание истории» К. Каутского, и «Социализм, коммунизм и анархизм» Карла Диля, и «Состав пролетариата» М. Лурье (Ларина), и «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции» Тарле и В. Либкнехт, и Стеклов, и Милютин, и многие другие авторы. Все это свидетельствует лишь о том, что читал я всю политическую литературу, которую только мог раздобыть. Тогда же достал я первый том «Капитала» и всерьез занялся им.

Как очень многие мои сверстники, я должен был на ходу учиться и марксизму и военному делу. По этим вопросам, к счастью, можно было отыскать хоть кое-какую литературу, но вот об умении обращаться с массами и понимать их психологию никакой литературы не существовало в природе.

И тут хочешь не хочешь приходилось до многого доходить своим умом, рискуя заново открывать Америки или изобретать деревянные велосипеды.

Политические беседы в ротах, собрания и митинги, которые мы, немногие коммунисты, устраивали каждый раз, когда печатавшийся на коричневой оберточной бумаге астраханский «Коммунист» сообщал об очередной нашей победе на Восточном фронте, строевые занятия и невольное увлечение многими командирами привычным делом, резкое улучшение снабжения, разрешенное уже тем, что был выгнан никудышный начальник хозяйственной части, а новый сумел выколотить все необходимое из дивизионного и армейского интендантств, — все это делало чудеса.

На пустыре и в бараках теперь была безукоризненная чистота. Постельных принадлежностей не было — о такой роскоши в ту пору и не мечтали, но винтовки стояли в пирамидах, на полу не валялось ни одного окурка, вещевые мешки были аккуратно сложены у изголовья, кумачовые полотнища со старательно написанными лозунгами радовали сердце. Кашевары не имели ни белых халатов, ни колпаков. Но в походные кухни полностью закладывалось все то основное и приварочное довольствие, которое удавалось получить. Правда, положенный «приварок» в ту пору существовал больше на бумаге, и я что-то не припомню красноармейского супа, в котором плавал бы лавровый лист или попалась горошина черного перца. Кормили, конечно, не блестяще: суп из сушеной воблы и пшено на второе...

В Запасном батальоне ежедневно шли строевые занятия, красноармейцы и командиры подтянулись, проклятый поясной ремень, навешенный на шею, превратился в редчайшее явление.

III

Стратегическое, продовольственное да и политическое положение отрезанной от остальной республики Астрахани ухудшалось с каждым днем.

Сформированную из остатков Кавказской армии 33-ю стрелковую дивизию от нас забрали, 34-я развертывалась со скрипом. Кроме нее, на нескольких образовавшихся вокруг осажденного города фронтах действовали 7-я кавалерийская дивизия, созданная из бывалых конников, курсанты организованных в городе пехотных курсов и несколько отдельных частей самого разного назначения вроде продовольственного полка.

С падением Царицына Волга была перерезана. Белые не раз перебирались на левый берег и делали налеты на единственную железнодорожную ветку, связывавшую Астрахань с остальной Советской Россией.

Железнодорожной линии этой, проложенной через пески и солончаки Киргизской степи, грозила постоянная опасность и со стороны бело-зеленой банды Попова, богатого прасола из Харабалай, объявившего себя в свое время эсером.

Каспийское море к этому времени находилось в безраздельном владении белых и англичан, но ни английские, ни белые военные корабли дальше Двенадцатифутового рейда носа своего не совали и в хорошо защищенное устье Волги покамест не лезли. Зато на острове Чечень английская морская авиация организовала свою постоянную базу, и оттуда начались почти ежедневные налеты на Астрахань.

Возглавленный же Кировым Реввоенсовет вновь формирующейся XI Красной Армии почти не имел ни самолетов, ни горючего. В распоряжении армии был один только 47-й авиационный отряд с несколькими старыми машинами. Командовал отрядом летчик Зиновий Фишер.

Известен подписанный Сергеем Мироновичем приказ, в котором летчикам Фишеру, Короткову и Щекину объявлялась благодарность «за неоднократные боевые полеты в весьма трудных условиях», а летчик Щекин, вскоре погибший, представлялся «за продолжительный и исключительно самоотверженный полет 19 июня, сопровождавшийся боем в воздухе одновременно с тремя неприятельскими аппаратами, в результате которого противник обратился в бегство», к высшей тогда воинской награде — ордену Красного Знамени.

Сохранилась и телеграмма Кирова в Серпухово, в Реввоенсовет республики, в которой он характеризовал совершенно катастрофическое положение отряда Фишера.

«Английские аппараты, — писал Киров, — продолжают систематически бомбардировать Астрахань. Прилетает по четыре, по пять боевых машин. Кроме того, имеются неприятельские аэропланы на Гурьевском, Луганском и других направлениях. Мы же располагаем только 47-м авиаотрядом, имеющим лишь одну исправную машину «Ньюпор-23», остальные три

машины вследствие непрерывных боевых полетов требуют продолжительного ремонта, который производится здесь. Летчиков в отряде четыре».

Все четверо были из рядовых солдат. В царской авиации право сидеть за рулем воздушной машины предоставлялось только офицерам, но «нижние чины» оказались отличными летчиками и не раз обращали в бегство прославленных английских асов.

Совсем недавно я получил от сына покойного командира 47-го отряда письмо со станции Балкаш. Он поставил перед собой благородную задачу — увековечить память отца, и пусть эти строки будут еще одним камнем для будущего памятника нашим первым героическим летчикам.

Огромные бараки Запасного батальона, построенные у вокзала, были хорошо видны с воздуха, и английские летчики, выискивая нужную цель для бомбежки, не раз делали заходы над ними. Мы в таких случаях загоняли красноармейцев в бараки, чтобы хоть этим замаскировать местонахождение Запасного батальона. Но и белая и английская агентура почти свободно работала в Астрахани, и не приходится сомневаться, что расположение основных воинских частей, стоявших и формирующихся в городе, было известно противнику. Английские летчики раза два сбрасывали на наши бараки бомбы, но они рвались поодаль.

Обычно в результате налета оказывалось несколько раненых и убитых, чаще женщин и детей, иной раз жертвами становились коровы, которых, невзирая на близость фронта, держали запасливые астраханцы. Своими налетами англичане и белые причиняли моральный ущерб не нам, а самим себе, ибо напрасные жертвы, которые несло мирное население, вооружали против интервентов и белых даже тех, кто мог стать их союзниками.

Фронт все ближе подходил к Астрахани. С востока на Красный Яр наступала армия генерала Толстова; с юга на Яндыковку шла группа генерала Драценко; осажденный Черный Яр атаковала конница генерала Бабиева, а южнее ее в Енотаевском направлении

действовали банды белых калмыков. И, наконец, севернее Черного Яра наступал генерал Улагай.

В эти горячие дни меня неожиданно вызвали в Политотдел и сказали, что со мной хочет поговорить Киров.

С Сергеем Мироновичем я говорил впервые, но видел и слышал его не раз, — не проходило и недели, чтобы он не выступил то на партийном активе, то на митинге.

Тогда он был в самом расцвете своего выдающегося ораторского таланта, но ни одна из сохранившихся в газетных записях его речей не дает ни малейшего представления о той силе воздействия на массы, которые имели в те дни выступления Кирова.

Этот невысокий, широкоплечий человек с тронутым оспинами чуть скуластым лицом, темными живыми глазами и типичной бородкой ссыльного, неизменно одетый в темный френч с открытым воротом и в ботинки с крагами, придававшими ему полувойennyй вид, с непостижимой быстротой овладевал разношерстной толпой, возбужденной до крайности и порой кем-то провокационно настроенной и против советской власти, и против большевистской партии, и против него самого.

Сергей Миронович часто выступал в летнем театре сада «Аркадия», расположенного неподалеку от барачного нашего батальона, но и независимо от этого я старался не пропускать ни одного его выступления, — они вливали ту живительную веру в победу, без которой было бы трудно работать в осажденной Астрахани.

С анкетой моей Киров был уже знаком, знал, что я бывший студент, и этим, очевидно, и объяснялось то сугубо официальное «вы», с которым он обращался ко мне.

Рабочим, матросам, рядовым бойцам Сергей Миронович обычно говорил «ты», да и они запросто называли его Миронычем. Но я не знал почти ни одного из работников политотдела или штаба, с которым он был бы на «ты», — этим не могли похвалиться даже те, кто работал бок о бок с Сергеем Мироновичем и был с ним в простых и товарищеских отношениях.

Расспросив меня о работе, о настроениях в Запасном батальоне, Киров отпустил меня.

Через несколько дней, 17 июня 1919 года, я рапортом донес в Поарм, что вступил в должность военно-политического комиссара 304-го стрелкового полка. На эту должность я сам напросился. Полк только начал формироваться, и Запасному батальону было предложено выделить для его комплектования не то пять, не то шесть рот. И красноармейцев и командиров этих рот я хорошо знал, сидеть в тылу осточертело, да мне к тому же хотелось до конца участвовать в том увлекательнейшем деле, которое поручила нам партия — формировании из беспорядочной толпы мобилизованных крестьян боевого полка впервые создающейся регулярной Красной Армии.

Политотдел охотно направил меня в полк — я ведь просился из тыла на фронт, а не наоборот.

IV

304-й стрелковый полк был расквартирован в нескольких брошенных купцами и рыбопромышленниками двухэтажных особняках, фасадами выходивших к знаменитой астраханской Канаве, и в пустующей школе, находившейся на противоположном берегу этого полувывсыхающего летом канала.

С командными кадрами во вновь формируемом полку явно не ладилось, да в спешке тех лихорадочных формирований, которыми тогда занимался Реввоенсовет армии, чтобы хоть как-нибудь заполнить оголенные с уходом 33-й дивизии участки протяженнейшего фронта, трудно было избежать ошибок.

Я не помню фамилии человека, которого застал в 304-м полку в должности его командира. Полк едва начал формироваться, командир тоже только что получил назначение. То ли он не понимал духа времени, то ли порядком разложился и занят был только собой, но ничего путного из его пребывания в полку не получалось, и все мы были счастливы, когда вместо него в полк пришел настоящий командир, очень мно-

гому нас научивший и быстро завоевавший в полку нужный авторитет.

Фамилия его была Гришкевич. Бывший штабс-капитан, он до назначения к нам работал в штабе нашей же армии. Высокий, широкоплечий, с черной, как вороново крыло, бородой и мощным голосом, он и внешне являл собой весьма импонирующую фигуру. Хорошо образованный и умный человек, он был очень прост в обращении, демократичен по натуре и обладал большим тактом и выдержкой.

Он не подлаживался к красноармейцам, как это делали многие бывшие офицеры, не льстил им и никогда не играл под такого «своего в доску» командира, в чем повинны были иные растерявшиеся интеллигенты в золотых погонах, пытавшиеся завоевать авторитет дешевой демагогией и панибратством с подчиненными.

Не льстил он, как это практиковали некоторые «военспецы», и своему комиссару и не уступал ему власти, как это сделал тот же Молодцов.

Гришкевич был ровен и требователен со всеми, не заискивал перед дивизионным и армейским «начальством», не трепетал от ужаса при упоминании об Особом отделе, был безупречно честен в быту, не позволял себе пользоваться даже малейшими, не предусмотренными уставом и положениями удобствами и преимуществами и вместе с тем был чужд всякого ханжества в этом отношении. Словом, это был замечательный командир, и, когда он, заболев какой-то особой и очень тяжелой формой малярии, вынужден был покинуть полк, я долго ходил как потерянный и был огорчен так, словно разлучился с очень близким и дорогим человеком.

Мы одинаково смотрели на стоявшие перед полком задачи и работали на редкость дружно и согласованно. Но теперь, спустя много лет, я понимаю, как трудно бывало порой Гришкевичу со мной и сколько сил затрачивал он на то, чтобы обеспечить те добрые и тесные отношения с комиссаром, без которых была бы невозможна любая созидательная работа в Красной Армии.

В ту пору военно-политический комиссар был не только воспитателем бойцов и командиров, организатором политико-морального единства части, представителем Коммунистической партии в ней. Это был период, когда партия вынуждена была проводить массовые мобилизации офицеров старой армии, часто настроенных враждебно по отношению к советской власти и порой не гнушавшихся даже предательским переходом на сторону противника. Но не привлекать их в армию было нельзя — уже был решен вопрос о создании трехмиллионной армии, а она требовала не сотен, а многих тысяч военных специалистов.

Массовая мобилизация старых офицеров требовала от партии повышенной бдительности и ставила перед военными комиссарами трудную и сложную задачу — быть в части или соединении «оком» партии, все видеть, все знать и в любой момент суметь предотвратить внезапную измену командира.

Положение о военных комиссарах предусматривало такую систему взаимоотношений командира и комиссара, при которой последний мог контролировать любой шаг первого. Печать части хранилась у комиссара, ни один приказ как по оперативной, так и по строевой и хозяйственной части не имел силы без его подписи, любой, даже мелкий вопрос не решался без его участия.

Постоянный контроль над поведением и действиями командира части требовал от военного комиссара не только бдительности, но и большого такта. Оскорблять и без того растерянного офицера проявлением недоверия к нему, а тем более отменой его распоряжений и приказов значило наносить прямой ущерб тому делу, на которое тебя послала партия.

Но и со стороны командира требовался большой такт, чтобы не обижаться зря, не создавать конфликтов и не обострять отношения с тем, кто волей-неволей должен был стать твоим вторым «я».

Я отлично понимал сложность положения и все-таки по молодости и горячности делал немало такого, что только выдержка Гришкевича уберегла нас от недоумений и ссор.

Дело шло на лад, и полк обещал стать образцовым.

Формирование воинских частей и соединений — увлекательнейшее занятие, требующее настойчивости, упорства, огромной энергии, таланта и даже вдохновения. Выработывавшиеся столетиями уставы и штаты давали возможность в любых условиях, даже в походах и на фронте, создавать тот железный порядок, который является основой всякой армии. В какой-то мере формирование новых частей напоминает мне проводящееся ныне строительство сборных домов из крупных блоков.

Смотришь на такой растущий на глазах дом, и многое кажется чудом. Вчера еще даже не кончили выкладывать стены, а сегодня многоэтажная коробка уже под крышей; подъемный кран осторожно кладет на нужное место огромную железобетонную плиту — и вот уже над головой вместо зияющего пространства прочно покоится готовый потолок...

Так и в армии. Сегодня прибыло пополнение, и ты не можешь отыскать в шумной и беспорядочной толпе хотя бы десятка настоящих солдат. А пройдет неделя-другая, и тебе уже кажется, что этот батальон или рота, в которой каждый солдат отлично знает свое место, существует годами, и ты вдруг видишь, что все в ней прилажено друг к другу так, как в сложной машине притираются движущиеся части.

И я и Гришкевич были ярыми сторонниками уставов, тогда только вводившихся в Красной Армии. Оба мы ратовали за суровую революционную дисциплину и знали, что она начинается с мелочей. И меня и командира полка одинаково заботил внешний вид красноармейцев и командиров. На все это уходило огромное количество времени, и естественно, что мы с командиром сутками не вылезали из полка и почти не расставались.

Красная Армия всегда гордилась своей высокой сознательной дисциплиной. Было бы неверным недооценивать эту революционную дисциплину, делавшую чудеса. Но так же неправильно забывать о том, что без выработки механических навыков у солдат и командира воевать трудно.

Диалектика жизни проделывала самые неожиданные фокусы. Два года назад мы вели постоянную агитацию против попыток сохранить в армии хоть что-нибудь из былых навыков и традиций. Мы делали это сознательно: надо было сломать и разрушить один из оплотов ненавистного Временного правительства.

Теперь мы стали ратовать за то, против чего еще недавно всячески восставали. Это была упорная и настойчивая борьба за мелочи, но в этих мелочах заключался огромный смысл.

Новый устав внутренней службы предусматривал взаимное приветствие военнослужащих при встрече друг с другом. Это напоминало ненавистное солдатам отдание чести, и где-нибудь в архивах Поарма и Особого отдела наверняка пылятся десятки подписанных и анонимных жалоб на то, что комиссар заодно с командиром «вводят старый режим».

В соответствии с уставом мы потребовали, чтобы дежурный по подразделению при появлении Гришкевича или меня обязательно подходил с рапортом и докладывал о состоянии батальона или роты.

Большую борьбу пришлось вести с наплевательским отношением к «казенному» имуществу. Только что выданное обмундирование сплошь и рядом оказывалось на Больших или Малых Исадах, превращалось в пачку ничего не стоящих керенок, либо обменивалось на шматок сала и пачку-другую махорки.

Помню, уже на фронте, в непосредственной близости от белых, мы давали по пять, а то и по десять суток ареста красноармейцу, потерявшему поясной ремень или так и не вспомнившему, куда делись запасная пара белья и сменные портянки.

Шло неумолимое время, принося и маленькие радости и большие огорчения. Радовало то, что красноармейцы нашего полка уже ничего общего не имели с бойцами «старых» астраханских частей, все еще ходившими в неряшливых гимнастерках с расстегнутым воротом и, уж конечно, без поясного ремня или без хлястика на шинели. Все чаще и чаще любопытные

астраханцы подолгу любовались строевыми занятиями, от которых давно отвыкли в городе, бравым видом красноармейцев, четкими их движениями.

Но дела на фронте становились все хуже и хуже, и это не могло не волновать.

В Астрахани творилось что-то неладное. Увлеченный работой в полку, я почти нигде, кроме политотдела, не бывал, от городской партийной организации невольно оторвался и многого не знал. И все-таки кое-какие зловещие слухи нет-нет да просачивались в полк и доходили до меня.

Рассказывали о только что раскрытом контрреволюционном заговоре, организаторы которого собирались отравить цианистым калием всех руководящих работников XI армии.

Особенно много врагов было у Георгия Атарбекова, замечательного чекиста, чистого и до конца преданного революции партийца, вынужденного проводить «красный террор».

Были враги и у Сергея Мироновича Кирова.

В связи с неудачами на ближайших фронтах затаившиеся, как тараканы в щелях, враги революции сразу оживились. Начал во всеуслышание говорить о столь желанной «свободной торговле» и притихший после разгрома мартовского мятежа обыватель. Создавалось положение, при котором не исключалась возможность новой контрреволюционной вспышки, — слишком живы в памяти были еще недавние бои на Татарском базаре и в Элинге, и немало участников мятежа мечтало о реванше.

Стало известно, что по распоряжению Москвы в армии создан новый Реввоенсовет, в который, кроме Кирова, вошли какие-то заслуженные товарищи, как будто приехавшие с Восточного фронта.

Понимая, как важно показать городу хорошо сколоченную и дисциплинированную часть, беспрекословно подчинявшуюся Реввоенсовету XI, мы построили полк и повели его на набережную Кутума, где в доме не то расстрелянного, не то сбежавшего к белым рыбопромышленника Губина помещался штаб армии.

Конечно, это был не полк, а всего лишь две сборные роты, полностью экипированные. Несмотря на все наши усилия и старания, в полку не хватало ни штыков, ни подсумков, ни шинелей. Но те красноармейцы, которые строем, с оркестром впереди шли к дому Губина, были как на подбор, и так здорово печатали шаг, что прохожие изумленно останавливались и долго еще глядели вслед необычно вымуштрованной советской воинской части.

Наши роты шли, держа безукоризненное равнение и в ниточку выровняв штыки. Гремел оркестр, стоявший нам бог весть каких хлопот. Впереди несли полковое знамя, сделанное не то собственными нашими силами, не то подаренное какой-то астраханской организацией. И командир полка и я ехали на отлично вычищенных и имевших должный воинский вид лошадях; полк подошел к дому Губина, Гришкевич оглушительным голосом скомандовал «смирно», и вокруг нас тотчас же собралась толпа.

На угловой балкон третьего этажа вышел плотный высокий человек с добродушным лицом и близоруко щурившимися за стеклами старомодных очков глазами. Это был вновь назначенный член Реввоенсовета армии Тронин. Он не очень уверенно поздоровался с полком, красноармейцы ответили дружным, показавшимся по набережным Кутума приветствием. Я соскочил с коня, и во всю силу молодых легких заверил вновь сформировавшийся Реввоенсовет XI армии в неизменной преданности бойцов революции большевистской партии и советской власти.

Я закончил здравицей в честь мировой революции, и по тогдашней традиции тем же кончил свою ответную речь и Тронин. Оркестр дважды исполнил «Интернационал», в толпе обнажили головы. Короткий митинг кончился. Гришкевич подал команду, и под звуки лихого марша солдатские ботинки снова застучали по избитой мостовой.

Так состоялось мое знакомство с Трониным, спустя полгода перешедшее в большую дружбу, тянувшуюся много лет.

Вместе с Галактионовым, сделавшимся впослед-

ствии советским генералом и известным военным писателем, Тронин прибыл в распоряжение Кирова с Восточного фронта.

Бывший учитель казенной гимназии, Тронин в семнадцатом году вошел в партию и с тех пор судьба его почти неразрывно была связана с самарскими большевиками, с В. В. Куйбышевым. Человек огромного большевистского темперамента, он обладал несгибаемой волей и был совершенно бесстрашен. Порядковый номер ордена Красного Знамени, полученного Трониным за взятие Уфы, тринадцатый. Этот орден он получил одновременно с Фрунзе и Чапаевым.

V

Я не помню точно, какого числа августа месяца полк получил, наконец, долгожданный приказ о выступлении из Астрахани. Я был и обрадован и огорчен. То, что полк начнет какие-то боевые действия, пусть поначалу не против регулярной белой армии, а против банд, оперировавших в степи, меня радовало; зато огорчала невозможность довести до конца формирование.

Несмотря на всю нашу настойчивость, в полку было только два батальона вместо трех, положенных по штату, да и имевшиеся шесть рот были укомплектованы далеко не полностью. По приказу Реввоенсовета республики № 220, памятного всем командирам и комиссарам частей и соединений того времени, стрелковый полк насчитывал свыше трех тысяч человек и из них не менее двух тысяч штыков. Штыками условно назывались строевые солдаты, хотя зачастую у красноармейцев и в помине не было этих штыков.

Довести полк до штатного состава нам не удалось. В старой записной книжке моей сохранились данные о численности 304-го полка на 26 октября 1919 года.

Вот они:

комсостава — 59;

строевых солдат — 1 275;

админ.-хоз. лиц — 6;

медицинский состав — 81;

хоз. нестроевой — 221.

Из этой же записи видно, что полк имел на вооружении 1 697 трехлинейных винтовок, 16 пулеметов «максим», 4 «кольта» и 452 тысячи винтовочных патронов.

Не только неукomплектованность — нас беспокоила и необученность бойцов. Только первый батальон состоял из бывших солдат старой армии, имевших боевой опыт. Второй батальон был сформирован из новобранцев, никогда в войсках не служивших. Отпущенного на формирование времени было недостаточно даже для того, чтобы обучить ружейным приемам. Бойцы всего раз-другой побывали на учебных стрельбах, очень часто занятия не проводились из-за перегрузки караульной службой.

Нам нужно было еще месяца два спокойного формирования и обучения для того, чтобы быть уверенными в любой из рот и команд. Но невозможность создавать резервы была в этот период уязвимым местом нашего астраханского фронта, и мы немало из-за этого страдали. Необученная, никак еще не сколотившаяся воинская часть посылалась на фронт, чтобы хоть как-то заткнуть образовавшуюся там дыру. И так как люди не знали ни друг друга, ни своих командиров, были не обучены и порой даже не вооружены, то из этого ничего хорошего не получалось.

По приказу 304-й полк должен был перейти в Харабали и, оставаясь в резерве штаба армии, прикрывать и Волгу и железную дорогу от возможных налетов бело-зеленых банд.

Я никогда не забуду ухода полка из Астрахани. Есть какие-то особые моменты в военной жизни, остающиеся почти неизменными при любой системе организации армии.

По главной улице Астрахани, которая теперь носит имя Кирова, все роты и строевые команды полка, построившись в походную колонну, с оркестром и знаменем впереди шли к Волге, где нас уже ждал пароход с прицепленными к нему баржами. Мы дошли до Братского садика. Гришкевич своим удивительным

командирским басом скомандовал «равнение налево», полк отдал честь братской могиле участников январских боев с казаками, женщины и девушки печально глядели нам вслед, уличные мальчишки бежали перед музыкантами, тщетно пытаясь попасть «в ногу». Я ехал рядом с командиром полка на своей умной золотистой кобыле и думал, что вот точно так же, наверное, уходили под глухие звуки медных труб полки и во время германской войны, и в турецкую кампанию, и на борьбу со вторгнувшимся в Россию Наполеоном. В армии сильней, чем где-либо, живут традиции и держатся многолетние навыки; и мне казалось, что и теми, кто задолго до меня вот точно так же медленно ехал впереди растянувшегося на несколько кварталов полка, владели и легкая грусть, и неясная жалость к себе и к солдатам, может быть, уже обреченным на смерть, и предвкушение неожиданных походов, и мысли о предстоящих боях. И, вероятно, и их, этих неведомых наших предшественников, провожали и любопытствующие уличные мальчишки, и опечаленные женщины, и влюбленные в кого-то из находившихся в строю солдат или командиров принаряженные погожим днем девушки.

Но заниматься свойственными моему возрасту лирическими переживаниями я не мог — выступление полка в поход требовало особого напряжения.

В первую очередь нас беспокоило, как бы за полком не потянулись многочисленные семьи и жены не только командного, но и рядового состава.

Гражданская война на юге России создала в этом отношении уже своеобразные традиции — за войсками тянулись обозы с семьями и даже с худобой, как называли там домашний скот. Старая XI армия отступала через степи, волоча за собой целые таборы, и это было одной из причин, почему Деникину удалось с такой быстротой и легкостью овладеть Северным Кавказом. Но на Дону, на Кубани и Ставропольщине такие тянувшиеся за полками хвосты были еще понятны. Станица восставала на станицу, казаки шли против иногородних, брат подымался на брата и сын на отца. Классовая борьба в период партизанских

формирований приняла такой острый и кровавый характер, что сформированный из своих же станичников или иногородних полк, оставляя белым станицу, вынужден был тащить с собой своих жен и детей, чтобы спасти их от верной гибели.

Постепенно эти гигантские обозы вошли в привычку. Разумные доводы о том, что следовавшая за частью жена или семья деморализует бойца, натыкались на демагогические разговоры о «завоеваниях революции». Теперь, дескать, не старый режим, так какого же биса вводить царскую палочную дисциплину. Может, человек на смерть идет, а ему, идола, и побыть с женой не дают. А на кого ж ее, жинку, бросить, коли на селе кадеты?

Коренных астраханцев в полку было немного, и все-таки к доброй половине красноармейцев старшего возраста уже понаехали из уездов жены. Можно было ждать, что они последуют за полком, тем более что серьезных боевых действий пока не предвиделось.

Посоветовавшись, мы с командиром полка решили не останавливаться ни перед чем, в корне пресекая пагубную привычку.

Полк погрузился. Оставалось только ждать, когда занятый под штаб пароход, уже подымавший пары, тронется и потащит за собой погруженные в баржи батальоны и полковой обоз. Укладываясь спать в отведенной мне каюте, я приказал дежурному по полку еще раз проверить, нет ли на пароходе или на баржах чьих-нибудь жен, и предупредить, что все они будут утром высажены в любом, даже совершенно безлюдном месте.

Рано утром я вызвал дежурившего командира. Он доложил, что, несмотря на многократные предупреждения, на баржах находятся семнадцать жен командиров и красноармейцев, проскользнувших в трюмы под видом провожающих.

— Прикажете капитану парохода причалить к берегу в первом же удобном для этого месте и ссадите с барж всех без исключения посторонних, чьими бы женами они ни оказались, — жестко приказал я за-

метно нервничавшему дежурному по полку, и он, откозыряв, бросился выполнять приказание.

Через несколько минут бледный от страха дежурный срывающимся голосом доложил, что на баржах творится нечто невообразимое, красноармейцы шумят и грозят расправиться со штабными.

Я отправился на баржу. У страха, как говорят, глаза велики, дежурный, конечно, сильно преувеличил. И все-таки на баржах творилось неладное. При моем появлении горланы притихли.

Я еще раз объяснил, почему нельзя таскать с собой жен, хотя об этом с ними не раз говорили и политруки и командиры рот.

— Понятно, товарищи? — спросил я у красноармейцев.

— Понятно, — не очень дружно пронеслось по рядам.

Полк выгрузился на левом берегу Волги верстах в тридцати от Харабалей и походным порядком направился в село. Никто не следовал за ротами, не было никого из посторонних и в полковом обозе, — всех еще утром высадили на одной из пристаней.

Первое испытание мы выдержали, но в Харабалях нас ждало второе. Дома стояли либо заколоченными, либо закрытыми на замок, село вымерло, и только с большим трудом можно было отыскать где-нибудь ветхую старушонку или старичка, почему-либо не выбравшихся на хутора.

На хуторах, разбросанных вокруг Харабалей, и сидело, выжидая, как поведут себя красноармейцы, многочисленное население этого одного из самых богатых в крае сел.

Наиболее сложным представлялось то, что первый батальон полка почти сплошь состоял из мобилизованных харабалинцев. Создавалось острейшее положение: добрая половина села была в банде Попова, другая — в нашем полку.

Подумав, мы с командиром полка решили замков не ломать и покамест разместить полк под открытым небом, тем более что стояли еще жаркие летние дни.

Выехав на хутора, харабалинцы оставили во всевозможных клунях, сараях, хлевах, подполах и погребах немало добра, соблазнительного для отощавших на вобле и пшене красноармейцев. Надо было добиться того, чтобы в селе не было взято у крестьян самовольно даже крынки молока, — мы считали, что это дело большой политической важности, и собранное с ходу полковое партийное собрание обязало коммунистов провести соответствующую разъяснительную работу.

Еще в Астрахани мы попытались расширить нашу небольшую, едва ли не в полтора десятка коммунистов, партийную организацию. В полку было проведено несколько открытых партийных собраний, на которые широко приглашались все желающие бойцы и командиры.

Наша партийная ячейка выросла почти втрое — мы приняли в партию бывалых солдат, умевших не только голосовать, но и отлично драться на фронте.

Придя в Харабали, мы уже располагали, с нашей точки зрения, довольно значительными пропагандистскими силами, и они-то и помогли нам в решении очень многих вопросов, как будто и незначительных, но имевших на самом деле первостепенное значение для полка.

Три дня красноармейцы провели под открытым небом. Ни одна дверь не была взломана, ни один, даже самый ледащий, замочек не сорван, и в этом была большая заслуга полковой партийной ячейки.

Вскоре с хутора начали возвращаться крестьяне. День ото дня село оживало, и мы и не заметили, как в нем стало по-обычномулюдно. Доверие крестьян было завоевано, и уже можно было попытаться открыть глаза тем одураченным харабалинцам, которые либо скрывались в степи, либо примкнули к банде Попова.

Помощник командира полка кубанец Чиков, смелый, способный командир, немало провоевавший на Северном Кавказе, предложил «пощупать» хутора.

Хутора эти не имели ничего общего с той хуторской системой, которая насаждалась в России Столы-

пиным, и не похожи были и на то хуторское хозяйство, которое было так развито в Прибалтике. Харабалинские хутора были чем-то вроде нынешних полевых станков; зажиточные крестьяне, располагавшие большим количеством земли, строили их либо в степи, либо на пойме, и иной хутор находился от села верстах в пятнадцати.

Хутора принадлежали наиболее богатым мужикам, да и сами Харабали славились в крае, как кулацкое и уж во всяком случае очень зажиточное село. На хуторах скрывались дезертиры, бывали белые лазутчики, с хуторов поддерживалась прямая связь с бандой Попова, и, расположившись в огромном, широко раскинувшемся степном селе, мы чувствовали себя как бы осажденными этими окружающими Харабали своеобразными форпостами белых.

Поэтому-то Чиков и попросил разрешения отобрать десятка два надежных конников из полковой разведки и под видом белого разъезда произвести разведку на хуторах.

Смастерив себе офицерские погоны, соответственно приодев и своих конников, Чиков выехал на хутора. Сопровождавшим его разведчикам было внушено, что отныне он, Чиков, уже не замкомполка и не товарищ командир, а «господин полковник»; сами же они не какие-то красноармейцы, а всамделишные «кадеты».

Полковую конную разведку мы сформировали из старых солдат, отлично знавших царскую службу и умевших лихо отдать честь, вытянуться «во фрунт» и не спутать «вашего высокоблагородия» с «вашим благородием», а следовательно, не обратиться к полковнику, как к оберу, а не штаб-офицеру. Умели они гаркнуть «никак нет» и «так точно» с таким тупым выражением лица, что их похвалил бы любой старорежимный фельдфебель; знали они и многие другие мелочи, которые белые уже восстановили в армии.

Затеянный маневр увлек всех, и Чиков потом говорил, что никто из хуторян не усомнился в том, что конники посланы генералом Толстовым.

— Та ж и честували нас ци гады, — верный своему кубано-украинскому говору, рассказывал Чиков. —

Я, може, с самой Кубани так не идал. Ну до чого ж багато живут куркули! Тильки войдешь в хату, а воны уж тащут на стол и яечню, и сало, и ковбасы, и билий хлиб, такий, шо под рукою скрипит. Горилкой и той почестували! — восхищался он.

Поездка по хуторам продолжалась порядочно, и когда Чиков вернулся, кое-кого из хуторян мы сразу же арестовали и отправили в Особый отдел, а других подозрительных по связям с белыми крестьян взяли, что называется, «на заметку».

Сложная обстановка, сложившаяся в Харабалях, не могла не тревожить Особый отдел армии, и в помощь мне оттуда был как-то прислан специальный сотрудник.

VI

Харабалинский середняк все больше и больше склонялся на нашу сторону.

Наши красноармейцы и местные крестьяне зачастую были не только земляками, но и близкой родней. И неустанную политическую работу среди местного населения, кроме политруков и членов полковой ячейки, вели и те фронтовики, из которых был сформирован первый батальон.

Политическая работа в армии подобна благодатному дождю, оросившему засеянное поле. Трудно сказать, какой именно вовремя хлынувший ливень способствовал прорастанию семян, оживил робкие всходы, наполнил живой силой потянувшийся вверх стебель, налил колос зерном. И я так и не знаю, какому из наших мероприятий полк был обязан тем, что переход из Астрахани в Харабали прошел без единого случая дезертирства.

Еще до ухода полка из города Реввоенсовет объявил «неделю дезертира», во время которой всем добровольно явившимся дезертирам или уклонившимся от мобилизации лицам объявлялась полная амнистия.

В разгар гражданской войны дезертир был не только трусом, уклонившимся от выполнения своего долга. Мобилизации проводили не только мы, но и

белые. Тот, кто не шел к нам, неминуемо оказывался у белых. Так вышло и с многочисленными дезертирами из Харабалей.

Просидевший почти четыре года в окопах, иной малограмотный, а то и неграмотный крестьянин уклонялся от мобилизации порой совсем не потому, что враждебно относился к советской власти. Наоборот, новая власть ему нравилась, от нее он получил и долгожданное «замирение», и землю, и тягло. Но вот снова тянуть солдатскую лямку ему было неохота.

«Нехай другие воюют, а я уже отвоевался», — наивно решал он и уходил из родного села на хутор или в ближайший киргизский аул. «Авось и без меня с кадетом справятся», — эгоистично решал другой.

Но проходил месяц, другой, и такие «зеленые» неожиданно для себя оказывались либо бело-зелеными, либо и вовсе белыми. Трудно было оставаться нейтральными в стране, где классовая борьба достигла небывалого накала.

В Харабалях оставалось не так уж много дворов, не связанных кровными узами с бандой Попова.

Но мы были довольны создавшимися с крестьянами отношениями. Лед недоверия и даже вражды был растоплен. На крестьян действовали и безукоризненное поведение красноармейцев и командиров, не дававших повода пожаловаться на насилие, самочинную реквизицию и даже на простое озорство, и развернутая полковой партийной ячейкой культурно-просветительная и разъяснительная работа.

В Харабалях оказалось несколько учительниц и кое-кто из недоучившихся астраханских гимназистов и гимназисток. Эти «культурные» силы были использованы Фединым, назначенным заместителем комиссара, до отказа. По инициативе культурно-просветительной комиссии полка был «брошен на культурный фронт», как говаривали тогда, и полковой оркестр. Штатного капельмейстера у нас не было, да как будто и не полагалось. Но начальник связи полка некий Линде оказался не только музыкантом, но даже композитором. Налаженный с его помощью оркестр

ежедневно играл на пыльной улице Харабалей с «политико-воспитательной и культурной целью», как не без гордости заявлял в своих отчетах Федин.

Не помню точно, по прямому ли проводу или через Тренина, приехавшего в Харабали для обследования полка, я обратился в Реввоенсовет с просьбой разрешить нам обратиться к находящимся в банде Попова харабалинцам и предложить им, сложив оружие, явиться с повинной. Одновременно я просил Реввоенсовет продлить давно окончившуюся «неделю дезертира», с тем чтобы в село вернулись и те, кто скрывался на хуторах и в заимках, боясь ответственности за уклонение от мобилизации.

Киров разрешил, и в ближайший воскресный день перед бывшим волостным правлением был собран сход. Это был обычный крестьянский сход, столь неотделимый от дореволюционной деревни, в которой издавна все решалось «обчеством», подпоенным кулаками или помещиком. Вокруг вынесенного на улицу стола толпились седобородые мужики, празднично приодевшиеся, в допотопных картузах, почти ненадеванных сапогах и ситцевых рубахах навыпуск под пропотевшими на жару «спинжаками».

Но было в сходе и то новое, что принесла революция. Наряду с крестьянами в качестве полноправных участниц его присутствовали и женщины, — русская, забитая вековой нуждой и бесправием многострадальная баба завоевывала свое место под солнцем.

Я доложил сходу о полученном от Реввоенсовета разрешении.

— Не мы, товарищи, а белые повинны в той братоубийственной войне, которая сменила германскую. Для того чтобы приблизить ее конец, мы и предлагаем всем оказавшимся в банде Попова крестьянам прекратить борьбу со своей же народной властью.

— От имени Реввоенсовета армии, — торжественно заявил я, — могу обещать всем явившимся с повинной бело-зеленым из отряда Попова и дезертирам, укрывающимся на хуторах, полное прощение и безнаказанность.

Сход длился несколько часов, мы дали высказаться всем желающим, и, когда, наконец, страсти улеглись, Федин зачитал написанное им письмо, с которым избранные сходом ходоки должны были отправиться в штаб обосновавшегося где-то около селения Чапчачи отряда Попова.

Я до сих пор помню пышную фразу, с которой Федин начинал послание схода.

«Сейчас, когда социалистическая революция побеждает во всем мире, — писал он, — бессмысленно вести давно обреченную на провал борьбу с советской властью...»

Предложенная им резолюция была дружно и от души принята, и на следующее же утро ходоки отправились в степь. Полк вернулся к обычным своим занятиям.

Стратегическое положение края ухудшалось, и штаб армии начал отрывать от полка его подразделения. Верстах в сорока работала приехавшая из Астрахани губернская комиссия по борьбе с дезертирством, и мы вынуждены были откомандировать в ее распоряжение роту.

И вот там-то произошел случай, давший нам убедительнейший материал для агитации. Красноармеец нашего полка, фамилии которого я не припомню, был назначен конвоировать задержанного на хуторе дезертира. Оба, и задержанный дезертир и конвоир, оказались земляками и даже ровесниками. Они шли по степи, вспоминали, как это бывает, прошлое, и задержанный дезертир предложил красноармейцу зайти к «старикам» на хутор.

— Попьем чайку, подзаправимся малость, — сказал он своему конвоиру.

Тот согласился.

А еще через день в брошенном семьей дезертира хуторе нашли труп зверски убитого бойца. На груди его была вырезана красная звезда, половые органы отрезаны, труп изуродован до крайности.

Мы снова собрали сход и доложили ему о зверстве дезертиров.

— Вот видите, — сказал я, — в то время когда мы посылаем ходоков и предлагаем мир, банда Попова лютует над такими же, как и вы, простыми крестьянами.

Еще через несколько дней вернувшиеся из степи ходоки принесли ответ Попова. Письмо подписал какой-то штабс-капитан.

«В то время когда мировая революция провалилась во всем мире, — писал он, ехидно перефразируя Федина, — и вас, жидов и комиссаров, уже везде вешают...»

Дальше шли угрозы и безудержная брань.

Мы еще раз собрали сход и прочитали собравшимся крестьянам ответ штабс-капитана.

Спустя неделю мы получили шифровку из штаба армии, предупреждавшую о готовившемся налете бело-зеленых на Ашалук и Харабали.

Полк выставил полевые заставы. Ночью мы с командиром второго батальона, смуглым, похожим на цыгана Ключовским выехали в степь и, проехав несколько застав и осмотрев отрытые в песчаных барханах окопы, убедились, что дозорная служба несет-ся батальоном тщательно и надежно.

Было не до сна, и, вернувшись в штаб полка, я, несмотря на поздний час, занялся очередными делами. Неожиданно с одной из застав левого фланга, где мы не были, привели задержанного лазутчика. Это был обросший клочковатой черной бородой мужичонка лет сорока, одетый так, как одеваются местные крестьяне, когда уходят на хутор, — в залатанное старье и самодельные «поршни», заменяющие в этих местах столь привычные в лесной полосе лыковые лапти.

Доставленный в штаб неизвестный заявил, что шел с хутора. На мой вопрос, почему возвращаться с хутора понадобилось так поздно, он пробормотал что-то неопределенное, вроде того, что хутор находится тут же «поблизу», так чего, мол, выбирать особое время, чтоб вернуться домой.

Я приказал обыскать задержанного, и из-за пазухи его извлекли пачку напечатанных на синей обер-

точной бумаге белогвардейских листовок, адресованное секретарю местного совета Лизякину письмо и никелированный револьвер «смит-вессон».

Вражеский лазутчик был пойман с поличным, но это не помешало ему отрицать всякую свою связь с бандой.

Листовки были напечатаны в гурьевской типографии и от имени генерала Толстова предсказывали близкий конец советской власти.

Я приказал арестовать Лизякина и доставить в штаб. Он так же упорно, как и задержанный крестьянин, отрицал свою связь с бандой, хотя в письме кто-то из близких Попову людей просил его «подготовить мобилизованных» и оповестить их о том, что из Гурьева прибыли казаки при офицере и пулеметах.

Всю ночь я возился с задержанными, тщетно пытаясь добиться от них признания и заставить назвать своих соучастников. Я устроил им очную ставку. Они с непостижимым упрямством отрицали даже то, что знают друг друга, хотя оба были харабалинцами и еще ребяташками бегали вместе.

По полку дежурил кто-то из благовоспитанных и деликатных подпоручиков, научившихся нести службу почти так, как это делалось в старой армии, но ровным счетом ничего еще не понимавших ни в политике, ни в том, за что и почему мы воюем.

— Возьмите касноармейцев, — приказал я ему, — выведите эту сволочь и расстреляйте за овином.

— Слушаюсь, — побледнел подпоручик и бросился выполнять приказание.

— Дежурный, — позвал я его, когда лазутчиков увели, — вы, того... только поугайте их, а расстреливать ни под каким видом не надо...

Подпоручик просиял: он еще мирился со службой в полку, но участвовать в расстреле хотя бы и заведомо белых шпионов ему было непосильно.

Но инсценировка расстрела ничего не дала. Мы продержали обоих под арестом еще дня два и все так же безрезультатно. Разуверившись в своих следовательских способностях, я отправил и изменника

из волисполкома и лазутчика из банды Попова в Астрахань. Спустя немного времени в астраханском «Коммунисте» было напечатано сообщение Особого отдела армии о расстреле двух опасных белогвардейских агентов, задержанных в Харабалях.

Газету я прочел в Енотаевске, куда к этому времени на смену ушедшему под Черный Яр не то 300-му, не то 301-му был переброшен наш полк.

VII

Я впервые был в Енотаевске и невольно поразился той настойчивости, с которой сыпучие пески наступали на этот уездный городишко. Многие дома были засыпаны выше фундамента.

Едва мы сменили стоявший в Енотаевске полк и выслали вниз по Волге в Замьяны и вверх не то в Ветлянку, не то в Пришиб две роты, чтобы создать какие-то опорные пункты против возможных набегов белых калмыцких банд, как заболел Гришкевич. У него внезапно начался сильный жар, он так и не подымался с постели.

Обязанности командира полка были временно возложены на Чикова, но он, несмотря на боевой опыт, не обладал ни тем авторитетом, который имел в полку Гришкевич, ни его умением держать в руках свыше двух тысяч разных людей, одетых в защитное обмундирование.

Надежд на выздоровление командира полка оставалось все меньше, Спасокукоцкий, назначенный в полк молодой врач, беспомощно разводил руками и говорил, что вряд ли удастся обойтись без эвакуации Гришкевича в тыл. Он предполагал малярию, но в правильности диагноза не был уверен.

Гришкевич только свалился, как на нас с Чиковым выпало выполнение первого боевого приказа штаба XI армии.

Начоперод* штаба вызвал нас к проводу и сообщил, что банда Попова, подкреплённая гурьевскими казаками, численностью в пятьсот сорок человек, за-

* Начальник Оперативного отдела.

няла Тамбовку, Ашалук, Сысыколи и Харабали. Нам было приказано выслать против банды две роты.

Сведенные в сводный батальон роты должны были выступить в Харабали. Сохранившийся в архиве, подписанный Чиковым и мною приказ командиру первого батальона Мишину гласил:

«Командарм приказал во что бы то ни стало занять село Харабали и Ашалук. Сражаться против банд энергично, постыдно отнюдь не отступать. Во что бы то ни стало разбить банду Попова».

Против банды были посланы лучшие в полку 2-я и 7-я роты. Командир 2-й роты Богашев, широкоплечий, мрачноватый офицер лет тридцати, с квадратным упрямым лицом, обратил на себя внимание еще в Запасном батальоне, — волевой и требовательный, он быстрее других наладил в своей роте порядок и добился отличной дисциплины.

В старой армии он был подпоручиком, в войсках прослужил немало и казался наиболее подходящим кандидатом для участия в операции. Но каково же было наше удивление, когда Богашев неожиданно отказался от выступления на возникший под Харабалами фронт.

— Вы с ума сошли, я вас арестую! — возмутился я и решил отправить отказавшегося от выполнения боевого приказа командира в Ревтрибунал.

Но Богашев поспешно доложил, что готов выполнить любой приказ командования; попытка же отказаться от похода против банды обусловлена только тем, что он еще ни разу не был в бою и боится подвести полк, с которым успел сродниться.

Он был предельно искренен, этот чуть не плачущий от стыда офицер, и я понял его. Отменять приказ мы не стали, но черт оказался не таким страшным, как его малюют, и Богашев, с честью выдержав первое свое боевое испытание, превратился в отличного командира и скоро начал командовать одним из наших полков.

Первая оперативная сводка не порадовала нас: 7-я рота, отступив от Харабалей, начала отходить

к реке Ахтубе. Но еще через день мы уже смогли донести в штарм:

«Набег совершен отрядом в 150 всадников под командованием поручика Боброва. Взяли из исполкома 300 тысяч рублей денег, расстреляли военкома т. Болтунова и завземотделом т. Шипилова. На станции Чапчачи сожгли водокачку и разрушили станционное имущество. 7-й ротой в 22 часа противник из Харабалей выбит и отходит в степь, преследуемый ротой. Станция Харабалинская разрушена до основания».

К банде, захватившей Харабали, присоединились отсиживавшиеся на хуторах кулаки. Едва село было очищено от бело-зеленых, как из Астрахани прибыла выездная сессия Ревтрибунала. Наиболее злостные мятежники были приговорены к расстрелу. И вот тут-то и трибунальцев, и всех командиров, и красноармейцев, участвовавших в разгроме банды, поразил один из бойцов, местный уроженец. Глубоко поняв враждебность мятежников советской власти, он попросил разрешения привести в исполнение смертный приговор, вынесенный его отцу.

Открытый фронт с белыми проходил перед самым Енотаевском. Полузасыпанный песком городишко охраняли со стороны степи пять полевых застав. За ними начиналась уже «ничейная» территория, по которой рыскали казачьи разъезды, не отваживавшиеся приблизиться к городу.

В Енотаевске мы застали построенную кем-то сцену. Перед дощатой раковиной в песок были врыты длинные скамьи; сооружение это кто-то окрестил театром, и мы старались использовать его до отказа.

Массовая агитация, умение воспламенить собравшихся на митинг бойцов имели в ту пору огромное значение. Я не пропускал ни одного удобного случая, чтобы не собрать полк и не произнести еще одну горячую речь.

В Енотаевске мне пришлось пережить сильное душевное потрясение. Борис Левин, к которому я успел по-настоящему привязаться, давно не подавал о себе вестей. Вскоре после того как я ушел из ка-

валерийского дивизиона, он был назначен комиссаром батальона под Ганюшкино в 298-й, если мне не изменяет память, стрелковый полк.

Дружили мы с ним крепко и давно. Сказалось влияние тех многочисленных бытовых «коммун», которые тогда создавались повсюду. Каждый из нас ревностно относился к тем сложным моральным обязательствам, которые мы положили в основу нашей дружбы. Из отношений исключались не только всякая неправда, фальшь, эгоцентризм, мещанское утверждение, что «мое — это мое», — каждый из нас больше всего опасался обнаружить даже в тайниках своей души что-нибудь похожее на себялюбие и жадность мещанина.

Незадолго до партийной мобилизации мы познакомились в Астрахани с одной милой девушкой, понравившейся обоим. Не являвшийся постоянным членом нашей «коммуны», но разделявший ее «принципы» Денисов в эти дни вернулся из-под Царицына, где вел большую и трудную работу по заготовке продовольствия для страны. Конечно, мы тотчас же познакомили с нравившейся нам девушкой и его.

Ровно через неделю, как это свойственно было нашему возрасту, да еще в такую стремительную весну, как та, все трое были уже влюблены в Розу Рокиту, как звали нашу знакомку, и каждый из нас готов был назвать ее своей невестой.

Соперничать друг с другом даже в любви мы считали противоречащим принципам нашей «коммуны», к чести нашей в каждом из нас говорило лишь чистое и романтическое увлечение, и мы решили определить наши судьбы при помощи жребия.

Проводив как-то Розу домой, мы отыскиали одинокий, немилосердно чадивший, но кое-как светивший уличный фонарь и при неверном свете его начали тянуть жребий, используя для этого две обломанные и одну целую спички. Последняя решала, вытянувший ее мог жениться на Роките.

Счастливую спичку вытянул я, и Борис и Денисов тут же у фонаря поклялись не только отказаться от всяких поползновений, но и делать все, чтобы мой

роман с Розой привел к счастливому браку. Само собою разумеется, что о нашей жеребьевке Рокита узнала лишь много лет спустя.

Воспользоваться выпавшим на мою долю жребием мне не пришлось. Через несколько дней я был уже в армии. Военная служба целиком поглотила меня, но лирические отношения с Розой остались, и спустя полгода, находясь под освобожденным от белых Царицыном, я попытался уговорить Рокиту приехать ко мне, обещав зачислить ее на военную службу. А еще через год я встретился с Розой в Баку, куда она попала с трибуналом XI армии.

Предоставив слепой судьбе право выбрать для Розы из нас трех нареченного, мы забыли о четвертом нашем товарище — Всеволоде, или Севке, как мы его называли, несмотря на занимаемую им высокую должность. А именно за него, председателя армейского трибунала, Роза и вышла замуж и с ним уехала на Кавказ вслед за Экспедиционным корпусом.

Я отвлекся от своего повествования, но это простительно, ибо только на днях мы с Рокитой вспоминали и наивную эту жеребьевку, и смешной роман «вчетвером», и даже нелепую черкеску, которую я купил в те дни на знаменитых Исадах. Черная, с огромными костяными газырями и красной вставкой вместо бешмета, черкеска эта была рассчитана на огромного верзилу, и я в ней выглядел так, словно переоделся в реквизированную у очень дородного попа рясу. Но на то и молодость, чтобы делать глупости, и, право, не стоит судить нас слишком строго, ибо, будучи только юношами, мы совсем по-взрослому дрались за советскую власть.

Вернусь к Борису. Он почти не писал мне, под Ганюшкином шли ожесточенные бои, и я не мог не беспокоиться о судьбе друга. Неожиданно в Енотавск приехал знакомый сотрудник Астраханского губпродкома. Мы вспомнили общих знакомых, и он рассказал мне, что Левин убит белыми под тем самым Ганюшкином, которое так тревожило меня.

Сотрудник губпродкома был человеком немолодым, очень серьезным и менее всего склонным к «розыгрышам». О смерти Левина он сообщал мне со слов астраханцев и, понимая, как меня это волнует, все же сказал, что, насколько он слышал, Левин пал смертью храбрых впереди своего наступавшего на белых батальона.

Гришкевич еще не уехал, мы жили с ним в одной комнате, в штабе полка я тоже оказался бы на людях. Расставшись с сотрудником губпродкома, я вернулся домой и, предавшись охватившему меня горю, закрылся в дощатом сортире и вволю наплакался. Но слез моих ни Гришкевич, ни кто-либо в полку так и не увидел, а вечером я дал телеграмму в Поарм, и в лаконичных строчках моего запроса трудно было обнаружить пронизавшую меня боль.

«Сообщите, при каких обстоятельствах убит комиссар батальона Борис Левин», — телеграфировал я, и хотя штабной писарь, которому было поручено дать телеграмму, ничего не заподозрил, мне мучительно захотелось снова разреветься.

И только неделю спустя из ответной телеграммы Поарма я узнал, что стал жертвой неточной информации, — Борис был жив и невредим.

VIII

В конце сентября 304-й полк передислоцировался в село Никольское. Находившаяся верстах в восьми от села казачья станица Грачи была захвачена белыми, и от казачьих разъездов нас отделяли только жидкие, в один кол построенные провололочные заграждения. Заграждения эти были сделаны только с северной стороны села и отчасти восточной. Левый фланг полка был открыт, и нам сразу же пришлось испытать все тяготы фронтовой жизни.

На черноморском боевом участке против нескольких советских стрелковых полков, наспех сформированных из мобилизованных крестьян, действовали две кавалерийские дивизии белых: 4-я Астраханская и 3-я Кубанская.

Деникин все еще имел одно бесспорное преимущество: против пехоты, преобладавшей в наших войсках, он пускал казачью и горскую конницу. Не случайно в ту пору одним из наиболее распространенных и действенных наших лозунгов стал призыв: «Пролетарий, на коня!» В те дни и началось формирование невиданного еще в военной практике кавалерийского соединения — конной армии. Возникшая вскоре конница Буденного очень быстро лишила белых их последнего преимущества и погнала Деникина обратно на Дон и Кубань.

Решающим в борьбе пехоты с конницей была выдержка, а ее-то подчас и не хватало нашим неискушенным в боях красноармейцам.

Отразить несущуюся лавой неприятельскую конницу было нехитро, — казаки не выдерживали залпового и пулеметного огня, если его открывали на близком расстоянии, и поворачивали обратно. Старая, обстрелянная пехота без особого труда справлялась с наскоками белой конницы. Но неопытные солдаты открывали огонь, едва казачья лава оказывалась в поле зрения. Обязательный залп подменялся одиночной стрельбой, не наносившей противнику сколько-нибудь заметного урона. Красноармейцы расстреливали почти все свои патроны, а казаки продолжали нестись на них, и ощущение кажущейся неуязвимости неприятеля окончательно парализовало волю пехоты. Еще немного, и она бросала оружие и либо сдавалась в плен, либо малодушно бежала.

И уж совершенно непреодолимыми для белой конницы являлись обычные полевые заграждения — вбитые в три ряда колья с намотанной на них колючей проволокой. Такие несложные заграждения сделали стоящий на Волге чуть выше Никольского Черный Яр неприступным для конницы Улагая и Бабиева и заслужили ему славу «красного Вердена». Тем, чтобы окружить Никольское колючей проволокой, и занялись мы в первую очередь.

Больше всего нас беспокоил открытый для белых левый фланг полка, занявшего круговую оборону. Пока я распоряжался ротой, выделенной для пост-

ройки заграждений, к берегу причалил окрашенный в серый защитный цвет пароход Волжско-Каспийской военной флотилии, и из него высадилась необычная для этих мест и боевой обстановки компания: седой, профессорского вида человек в светлом костюме и соломенной шляпе-панаме и две дамы в белых кружевных, как тогда носили, летних платьях.

Мне не надо было напрягать память, чтобы сообразить (я видел ее раньше), что это Лариса Рейснер, талантливая писательница и журналистка, яркие фронтовые очерки которой я не раз читал в «Известиях», ее мать и отец, известный петербургский профессор.

Познакомиться с Ларисой Рейснер мне хотелось давно, но как-то не выпадал случай. Подойти к ней я не решился из-за наивной стеснительности, присущей моему возрасту. Пришлось пойти на военную хитрость. Подозвав красноармейца, я приказал ему направиться к «непонятым штатским» и предложить им удалиться, так как они, мол, попали в зону военных действий, пребывание в которой посторонним воспрещено.

Красноармеец выполнил приказание и вернулся, как я и предвидел, с возмущенной писательницей.

— Товарищ комиссар, какая же я посторонняя? — негодуя, сказала она. — Я Лариса Рейснер.

Я сделал удивленное лицо и, бесстыдно соврав, что не имел представления о том, кого хотел удалить из расположения полка, разговорился с давно интересовавшей меня писательницей.

В легком воздушном платье, вся наполненная брызжущей из нее энергией и жизнерадостностью, она была очень хороша в этот яркий солнечный день только слегка обозначившейся астраханской осени. Мне же, огрубевшему в полку, несколько месяцев уже занятому только строем и боевой подготовкой, она показалась видением из какого-то неправдоподобного и прекрасного мира.

Подробности нашего разговора не сохранились в памяти, но, каюсь, Лариса Рейснер очаровала меня.

Спустя четыре года я встретил Ларису Рейснер в Москве в одной из редакций, и мне показалось, что она постарела и потеряла ту особую прелесть, которая так пленила меня когда-то в Никольском.

Пока полк нес оборону Никольского, приехал, наконец, Касперович, назначенный его командиром. Мне сразу не понравилось подавленное состояние, в котором находился новый комполка.

Его жена оказалась в захваченном белыми Ганюшкине и попала к ним в плен. Я тщетно убеждал Касперовича, что ничего с ней белые не сделают, — того, что муж ее в Красной Армии, было еще недостаточно для расправы. Он же был убежден, что жена его погибла, — кто-то ему об этом сказал.

— Но если она и жива, — настаивал командир полка, — то я все равно никогда с ней не увижусь.

Почему-то он вбил себе в голову, что будет убит в первом же бою.

Все эти настроения командира полка не могли не тревожить меня. Того доверия, которое я испытывал к Гришкевичу, не было и в помине. Правда, я не опасался перехода Касперовича к белым, но стать той твердой рукой, которая должна была повести полк в первый его серьезный бой, он заведомо не мог. Это было тем более неприятно, что полку предстояли тяжелые бои.

Через несколько дней началось наступление на станицу Грачи.

...Начало светать, взошло все еще жаркое солнце, противник не появлялся, и наше продвижение вперед по берегу Волги, несмотря на высланные вперед дотзоры и рассыпной строй, больше походило на полевые учения. Наконец в песках обозначились неясные конные фигуры — это были белые. Завязалась легкая перестрелка. Я ехал рядом с доктором Спасокукоцким, с которым очень подружился, потом к нам подъехал Линде; на левом фланге у бойцов, начавших делать перебежки, появился первый раненый, но ощущение того, что все это только игра, так и не проходило.

Немного постреляв, белые очистили Грачи, и мы на рысях въехали в покинутую станицу. Наше наступление явилось для белых полной неожиданностью, и они ушли настолько поспешно, что в одной из хат мы наткнулись на приготовленный для деникинских офицеров, но так и не тронутый ими обед.

Едва полк вошел в станицу, как пришел приказ вернуться в исходное положение, — это была только разведка боем.

Грачи исстари славились на всю Россию своими чудесными арбузами, и так как на каждом казачьем дворе высились огромные груды полосатых, величиною с ведро, раскалывавшихся от легкого удара ножом кавунов, то никакая сила не могла удерживать бойцов, разбежавшихся по станице и возвращавшихся в строй нагруженными до отказа.

Построившись в походную колонну, даже не оставив в станице заставы, полк приготовился к обратному маршу. И вот тут на обратном пути со мной случился анекдот, долго заставлявший меня краснеть при одном воспоминании о нем.

Полк шел вдоль Волги, когда неожиданно в степи начали рваться снаряды.

— Это, наверное, утренние снаряды рвутся, — сказал я ехавшему рядом Линде.

Начальник связи очумело поглядел на меня.

— Да это же... — начал он и вслед за красноармейцами ринулся в рядом пролежавший яр.

И тут только я сообразил, что никакие снаряды, выпущенные утром поддерживавшей наше наступление флотилией, рваться, конечно, не могут, а взрываются бомбы, сброшенные с закружившего над полком неприятельского самолета, шума мотора которого я, заговорившись с Линде, не расслышал.

Белогвардейский самолет с хорошо различаемыми трехцветными, как у царского флага, опознавательными знаками на крыльях покружил еще некоторое время над нами, сбросил еще две или три небольшие бомбы и улетел. Но всю дорогу до Никольского я краснел при одной мысли о глупости, которую совершил.

Еще через день 304-й полк двинулся к Черному Яру в составе особой группы войск, сформированной из трех стрелковых полков и приданной им 7-й кавалерийской дивизии. С Волги наше наступление должна была поддерживать Волжско-Каспийская военная флотилия.

IX

Белые отдали Соленое Займище почти без боя. В отличие от безлюдной станицы Грачи крестьянское население широко раскинувшегося приволжского села высыпало нам навстречу.

Всего несколько месяцев похозяйничали в Соленом Займище белые, и этого оказалось достаточным, чтобы круто изменить настроения крестьян. Ворвавшихся в село красноармейцев встречали как избавителей, в редкой хате не угощали, и все это делалось от души и без всякого притворства.

То, что белые ушли из Соленого Займища, почти не оказав нам сопротивления, насторожило меня. Вспомнилась сохранившаяся от старших классов гимназии классическая строка из «Одиссеи»: «Что бы там ни было, боюсь данайцев, даже дары приносящих».

«Почему белые сами сдали село?» — беспокойно размышлял я.

304-й шел в арьергарде, передовые полки уже вышли из села и двигались к осажденному Черному Яру. Красноармейцы едва оправались от длительного марша, как пришел приказ: 304-му полку остаться в Соленом Займище и, заняв круговую оборону, нести гарнизонную службу.

Вероятно, если бы был не Касперович, а прежний командир полка, вдвоем мы сумели бы опротестовать приказ или на свой страх и риск вывести полк из Соленого Займища и встретить белую конницу в любом сколько-нибудь удобном для боя месте.

Мы хорошо понимали, что нельзя с двумя неполного состава стрелковыми батальонами занимать растянутую на добрых семь верст оборону.

Соленое Займище находилось в низине. Займище — полоса земли у реки, заливаемая полой водой. Уже это говорило против того, чтобы организовать здесь оборону. Окружавшие Займище песчаные бугры давали возможность ушедшему в степь противнику скрыто обрушиться на занявший оборону полк, что, кстати сказать, и произошло в дальнейшем.

Задуманная операция была, вероятно, продуктом типично «кабинетной» стратегии, и побывав командарм в обреченном селе, он не допустил бы этой роковой ошибки.

Касперович, занятый нелепыми своими предчувствиями, ничего не предпринимал, а решиться нарушить приказ я, конечно, не мог, ибо был связан воинской дисциплиной.

Выполняя приказ, полк начал окапываться. Нужно было окружить село проволочными заграждениями, но ни кольев, ни проволоки не было, и их так и не подвезли, несмотря на все наши настойчивые требования.

Некоторое подобие заграждений — немного ржавой колючей проволоки, кое-как натянутой на накренившиеся колья, — имелось лишь на левом фланге полка; там были отрыты и окопы, неглубокие, но все же дающие возможность кое-как укрыться. На правом фланге, проходившем за высившимися на околице ветряками, не было ничего. Если бы Касперович пробыл в полку не три дня, а хотя бы месяц и знал людей, он непременно выдвинул бы на правый, незащищенный фланг полка батальон Мишина, а саратовский молодняк, собранный в батальоне Клюковского, поставил бы на левый фланг. Но командир полка этого не сделал, а отсутствие боевого опыта помешало мне заставить его переменить решение, и это было второй нашей роковой ошибкой.

Ночь прошла относительно спокойно, но на рассвете в село прискакал боец из 7-й кавалерийской дивизии. Дивизия эта после занятия Соленого Займища бросилась в степь на преследование уходящего противника.

Конник был в панике. По его бессвязному рассказу можно было решить, что дивизия разбита и обращена белыми в беспорядочное бегство. Особенно верить ему, как и всякому перепуганному человеку, было нельзя. Но с дивизией, видимо, что-то стряслось, и белых следовало ждать с минуты на минуту.

Еще накануне полку придали три броневых автомобиля. Броневик в ту пору считался чем-то вроде «крепости на колесах», но оставленные нам машины надежд наших не оправдали. Не дала нам ничего и поддержка судовой артиллерии, наблюдательный пункт которой был уже установлен на колокольне сельской церкви.

Белые повели наступление, когда запоздалое осеннее солнце начало припекать. Едва через село с тяжелым рокотом пролетели первые выпущенные флотилией снаряды, как Соленое Займище сразу вымерло. Навстречу обозначившимся на песчаных буграх казакам по пыльной дороге прошел окрашенный в серо-лиловую краску броневик. Постреливая в белую конницу, он миновал линию окопов, уже отрытых вторым нашим батальоном, и сразу же попал под артиллерийский обстрел противника.

Пехота наша во всех отношениях была лучше белой, о кавалерии не приходится и говорить, — ни один конный корпус белых не стяжал и ничтожной доли той воинской славы, которую заслуженно завоевала конница Буденного.

Но артиллерия была нашим уязвимым местом уже потому, что у наших орудий стояли рядовые и не очень грамотные солдаты, а у Деникина орудийной прислужкой обычно являлись сами офицеры.

Так случилось и в этом бою. Несмотря на находившегося на колокольне наблюдателя, судовые орудия били из рук вон скверно; белые же артиллеристы очень скоро подбили наш броневик, и он беспомощно стал. Та же участь постигла и две другие бронемашины.

Особой активности белые, однако, не проявляли и то появлялись на вершинах крайних холмов, то вновь

исчезали. Касперович предложил мне объехать окопавшиеся роты, и мы поскакали к ветрякам.

Мне катастрофически не везло в последние дни. Даже умная Манька моя как раз накануне боя в Соленом Займище почему-то пристала, и я вынужден был заменить ее рослым, но плохо обьезженным «калмыком» из обоза.

Едва мы выбрались на пустырь, как попали под частый и явно прицельный огонь белых. Отлично зная, что перед ним находится пехотный полк, белые заподозрили в вынесшихся из села всадниках командиров, — и белогвардейские пули, как частый дождь, забарабанили о песок, взрывая тоненькие столбики почти у самых копыт наших коней.

Касперович, к чести его, был смелым офицером. Он скакал к окопам, не пригибаясь, и тут я впервые по-настоящему понял, что есть вещи, которые много сильнее смерти.

Мы скакали под пулями белых, и хотя я был порядком испуган и неустанным посвистыванием их над ушами и все время суживавшимся кругом обстрела, говорившим о том, как настойчиво берут нас на мушку казаки, но то, что на нас смотрят окопавшиеся роты, не разрешало мне пригнуться или как-нибудь иначе проявить свое малодушие.

Из-за ветряка навстречу нам выбежал Клюковский. Смуглое лицо его было возбуждено, офицерская фуражка съехала на затылок.

— Товарищи, вы с ума сошли! — стараясь перекрыть шум стрельбы, заорал он. — Слезьте с коней! Вас убьют!..

— Пустое!.. — отмахнулся Касперович и направил доставшуюся ему «по наследству» от Гришкевича огромную Машку прямо к окопам.

— Нет, нет, немедленно слезайте! — запротестовал комбат и заставил нас спешиться и завести лошадей за ветряк.

Подпоручик Клюковский был сыном астраханского исправника. Происхождение и воспитание в реакционной семье не помешали ему, однако, превратиться впоследствии в отличного командира Красной

Армии. Спустя некоторое время после того, как мы расстались, он настолько зарекомендовал себя, что получил полк. В одном из боев с белыми Клюковский был тяжело ранен и потерял ногу. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Оставив лошадей с коноводами под прикрытием ветряка, мы вместе с Клюковским обошли окопавшийся батальон.

Окопы начали отрывать еще накануне, и все-таки всем этим саратовским парнишкам, плохо знакомым с солдатской службой, оказалось не под силу вырыть их в «полный профиль». Теперь они сидели в недоделанном окопе, согнувшись в три погибели и жалко пряча головы от пуль, все чаще подымавших неизменные столбики пыли на разогревшемся к полудню песке.

Касперович медленно шел вдоль линии фронта, ободряя закопавшихся в песок бойцов. Белые снова сделали нас своей мишенью. Я, по правде сказать, довольно скверно чувствовал себя под непрекращавшимся обстрелом, но высокое звание комиссара обязывало...

Основные силы белых либо отсутствовали, либо укрывались за уходившими вдаль барханами. Перед окопами на порядочном расстоянии маячили лишь небольшие кучки казаков. Кое-кто из них спешился и, используя естественное прикрытие, вел из-за бугорка прицельный огонь.

Вернувшись, наконец, к ветрякам, мы расстались с Клюковским, и снова, пока мы не въехали в село, белогвардейские пули настойчиво падали у самых копыт наших нервничающих лошадей.

В полевом штабе нас ждали связисты, Линде и Федин. Мне очень не хотелось брать с собой Федина в наступление на Соленое Займище, да в этом и не было никакой надобности. Но он проявил такую настойчивость, что я в конце концов сдался и только, не в первый уже раз, пошутил:

— Ну куда вы, Федин, лезете с такой шевелюрой? Попадете белым, они вас сразу же повесят как комиссара.

Шутка моя оказалась пророческой. Несколько дней спустя белые повесили попавшего в плен под Соленым Займищем Федина, и он долго еще покачивался на ветру, подтянутый проводом к изоляторам телеграфного столба, висившегося над оголенным берегом Волги.

Невольно я задумывался и над тем, что станет со мной и как я должен буду вести себя, если по воле случая окажусь в руках белых. На короткие минуты в голову пришла трусливая мыслишка: «А что, если переодеться во все солдатское?..» Тотчас же я со стыдом отбросил ее.

На случай нечаянного плена я прибавил к висевшему в кобуре нагану браунинг, который носил в кармане пошитого из шинели, но казавшегося мне на редкость нарядным открытого френча, такого же примерно фасона, какой теперь носят офицеры.

Браунинг этот предназначался для того, чтобы застрелиться в тот страшный момент, когда другого выхода уже не останется...

Федин был заметно взволнован и, пожалуй, даже испуган, хотя испуг свой он старательно прятал. Пока мы объезжали окопы, он побывал на артиллерийском наблюдательном пункте и заметил с колокольни большое количество скапливавшейся в степи белой конницы. Я успокоил его, сказав, что 7-я кавалерийская вот-вот должна ударить в тыл окружавшим Соленое Займище белым.

Отправив находившуюся при штабе в резерве линейку со станковым пулеметом Клюковскому, я решил сходить в сарай, где со вчерашнего вечера сидел захваченный нами лазутчик, мрачноватый, лет тридцати с лишним казак, пытавшийся уверить меня, что он только «набилизированный» и «ни к чему не причинен». Но на коротком кавалерийском полушубке его от плеча к пояснице проходил широкий лоснящийся след, который мог оставить только кожаный ремень ручного пулемета «люис».

— А это что? — сердито спросил я пойманного лазутчика, показывая на уличавший его след.

Ручные пулеметы в ту пору имелись и у нас и у белых в крайне незначительном количестве, и, конечно, никто в «Добровольческой армии» не доверил бы мобилизованному такого ценного оружия.

Отправлять лазутчика в тыл было не с кем и некогда, и, зная, как трагически могут обернуться дела, я решил сам пристрелить пойманного шпиона.

Но не успел я выйти из дома, как в углу запищал полевой телефон.

— Из первого батальона, — доложил связист.

В расположение первого батальона, находившегося на левом фланге и прикрытого от белых начинавшимся в селе яром, мы собрались поехать, как только управимся с неотложными делами, накопившимися в штабе.

— Из первого? — переспросил Касперович и, нетерпеливо выхватив у связиста трубку, начал повторять вслух то, что ему сообщали: — Что? Идут в атаку? Кадеты? Конница? Сколько их?

Связь неожиданно прервалась, и, пока командир полка, ругательски ругаясь, дул в трубку, кто-то из красноармейцев, появившись в дверях, испуганно крикнул:

— Прорвались!..

Прорваться белые могли только в расположении второго батальона, из которого мы только что вернулись.

— Чепуха! Это провокация! — не поверил я, но инстинктивно выглянул во двор и увидел несущуюся по отдаленной от нас лишь плетнями широкой сельской улице казачью лаву.

Казаки, или, как потом оказалось, калмыки, мчались, яростно размахивая клинками и подбадривая разбойничьими криками и себя и ошалело скачущих лошадей.

В полевом штабе полка, кроме нас, Линде и Федина, было лишь несколько связистов и два конника из полковой разведки. Когда я выскочил на крыльцо, белые скакали уже в какой-нибудь сотне шагов от нашего штаба. Любой из нас отдал бы все, чтобы быть вместе с ротой или батальоном, чтобы

встретить врага в строю с винтовкой или револьвером в руке. Но о каком-либо вооруженном сопротивлении белым теперь нельзя было и помышлять, — прорвавшаяся сотня затоптала бы нас копытами бешено мчавшихся коней. Вот если бы в штабе был пулемет или хотя бы ручные гранаты...

Все эти мысли с сумасшедшей стремительностью пронеслись в голове, и мы, более подавленные тем, что оторваны от полка, нежели нагонявшим ужас налетом белых, поняли, что надо уходить. Со вторым батальоном явно что-то стряслось, надо было пробраться в первый батальон, но путь к нему перегораживал глубокий овраг.

Лошади наши были привязаны к тому самому сараю, в котором сидел вражеский лазутчик. Я и сам не заметил, как оказался в седле, и запомнил только, что Касперович вскочил на коня одновременно со мной. Выскочив со двора, мы свернули влево и поскакали по улице, параллельной той, по которой лавой неслись белые. Около меня неожиданно очутился старший команды разведчиков и еще один конник. Касперовича я больше не видел. Из боя он не вернулся и не то был зарублен белыми за моей спиной, не то попал к ним в плен. Во всяком случае судьба его до конца гражданской войны была для меня неясна, хотя я и не раз пытался ее выяснить. Красноармейцы разбегались по дворам, куда исчез Линде, я так и не понял. Внезапно в открытой калитке какого-то дворика я увидел Федина. Мертвенно бледный, он последний раз в жизни бросил на меня растерянный взгляд и скрылся за плетнем. Тотчас же я заметил, что лошадь второго разведчика скачет уже без всадника; шла беспорядочная стрельба, через плетни видны были пьяные калмыки, прорвавшиеся в село.

Пожилой обозник, что-то привозивший в штаб, нахлестывал испуганных боем и заупрямившихся лошадей. На парной повозке не было ничего, лошади представляли не ахти какую ценность, но ему, этому обознику, столько раз внушали, что военное имущество надо беречь как зеницу ока и ни в коем

случае не бросать без приказа, что он в тот момент, когда я на полном карьере скакал мимо, взмолился:

— Товарищ комиссар! Кони стали. Что робить?

Белые уже свернули в переулок и вот-вот должны были отрезать нас.

— Да бросай ты их к чертовой бабушке и тикай! — крикнул я красноармейцу и понесся дальше.

Прорвавшие фронт калмыки тем временем повернули вправо и скакали уже по пересекающему нам путь переулку.

Я подумал было о том, чтобы соскочить и спрятаться где-нибудь в хате, как это сделал Федин. Но с той непостижимой быстротой, которая приходит только в минуты большой опасности, мне представилось вдруг, как будут меня вытаскивать из подпола или клуни озверелые казаки, и я, вытащив наган, поскакал прямо на белых.

«Сейчас меня зарубят, — мелькало в голове. — Как странно! Меня еще никогда не рубили, и вдруг на меня обрушится чей-то отточенный клинок. И затем смерть, та самая смерть, которая всегда представлялась такой бесконечно далекой...»

Но, к моему удивлению, какое-то болезненное и непонятное любопытство пересилило тот ужас, в который не могла не повергнуть меня скачущая наперерез неистовая калмыцкая сотня.

Х

Меня и старшего полковой команды разведчиков спасла случайность. Разведчик, как и все конники, был вооружен саблей. Обнажив клинок, он настегивал им свою заупрямившуюся лошадь, но со стороны можно было подумать, что это скачет прорвавшийся в Займище казак или калмык. Еще труднее было кому-нибудь из белых вообразить, что прямо на них несется комиссар полка, батальон которого им удалось обмануть и опрокинуть.

В нагрудном кармане моей гимнастерки лежал партийный билет, на рукаве френча была пришита красная звезда и такая же пятиконечная звез-

дочка алела на околыше трофейной английской фуражки.

Сдайся я сотне, меня ничего, кроме самой мучительной смерти, не ожидало бы, — белые проявляли чудовищную изобретательность, придумывая для попавших в плен комиссаров самые страшные и медленные казни.

В самом счастливом случае меня сбросили бы живьем в степной худук — колодцы в Соленом Займище ничем не отличались от тех, на которые я уже насмотрелся в Калмыцкой степи, — или повесили бы на телеграфном столбе. Но и выколотые глаза, и отрезанные у живого еще человека отдельные члены тела, и любые пытки — все это было в порядке вещей у тех, чьи газеты все время вопили об «ужасах Чека»...

Благодаря обнаженной сабле разведчика нас приняли за «своих», и мы проскочили в тот небольшой промежуток, который всегда образуется между командиром конной части, скачущим с адъютантом и знаменосцем несколько впереди остального строя, и сотней.

И мы и белые неслись наперерез друг другу на таком сумасшедшем карьере, что я даже не разглядел погон. Запомнились лишь смуглые лица, линялое защитное обмундирование, блеск обнаженных клинков...

Едва мы перескочили переулок и сотня оказалась за нашими спинами, как мой калмыцкий неук, испугавшись выстрелов и криков, заупрямился и внезапно стал. На руке моей, державшей наган, висела тяжелая калмыцкая плеть с вделанным в сыромятные ремни свинцом. Борис как-то учил меня, что любая, даже самая упрямая лошадь не выдерживает удара нагайкой промеж ушей, и я так вытянул плетью моего неумного коня, что он взвился на дыбы и вынес меня на следующий перекресток.

Я натянул мундштуки и перевел коня в обычный галоп. И вот тут-то я еще раз испытал такой ужас, которого, пожалуй, не вызвала и ворвавшаяся в село сотня. Неожиданно из-за угла выскочили какие-то

конники, и когда я уже вскинул наган, выяснилось, что это красноармейцы стоявшего на правом фланге кавалерийского дивизиона. Прорыв фронта вызвал в дивизионе панику и заставил конников бежать врассыпную.

Я хотел пробраться к первому нашему батальону, но белые поскакали по той единственной дороге, по которой собрались ехать и мы.

Мы доскакали до Волги и увидели отвалившие от берега корабли флотилии. Валявшиеся у воды лодки были продырявлены белыми при оставлении ими села, и волей-неволей мы подались вправо по берегу, с расчетом либо на то, что проберемся кружным путем к дерущемуся еще, судя по поднявшейся стрельбе, первому батальону, либо переправимся через Волгу, если Грачи уже захвачены белыми.

Проехав с версту, мы обнаружили вытащенную на прибрежный песок лодочку. Неподалеку чернела рыбацья сторожка. Разведчик сбегал за веслами, мы расседлали коней, погрузили седла и оттолкнулись от берега, держа в поводу испуганных животных. Берег отдалился, стало глубже, кони пошли вплавь, и мы выбрались уже на середину могучей реки, когда нас подобрало уходившее из захваченного белыми села санитарное судно.

Пока лошадей втаскивали на канатах на палубу, оказавшийся на пароходе комиссар штаба дивизии Базегский рассказал, что продвинувшимся вперед полкам удалось дойти до Черного Яра, но там они попали под огонь своего же гарнизона.

— Что же касается Соленого Займища, — продолжал Базегский, — то это просто позор. На кой надо было лезть в эту мышеловку? Отдали три броневика, судя по всему их даже не взорвали, потеряли еще один полк или, во всяком случае, добрую его половину, и все по собственной глупости...

Вероятно, он говорил все это, чтобы как-то утешить меня. Я не скрывал своего подавленного состояния. Возвращаться из боя, потеряв полк, было настолько тяжело, что собственное, кажущееся чудом спасение не доставляло никакой радости.

Это было сложное чувство, и я вряд ли смог бы проанализировать его толком. Во мне говорила смертельно уязвленная гордость комиссара, претендовавшего на то, чтобы в дальнейшем самому командовать любимым полком. Так какой же я, к черту, командир, когда после первого же сражения возвращаюсь один без полка?.. Меня удручала неизвестность, — я ни за что не хотел верить, что первый батальон разделит участь второго. Я волновался за судьбу моих товарищей по полку, ко многим из которых успел уже по-настоящему привязаться. Съедала тревога и за судьбу Федина...

«Ну что помешало ему вскочить на коня и хотя бы только последовать за мной? — в который раз спрашивал я себя. — Ведь Соленое Займище снова в руках белых, и неизвестно, когда еще мы их выьем оттуда».

Мучило и другое: я все-таки верил в свой полк. Так как же случилось, что он не выдержал этого первого испытания? Наконец мне было жалко полка, как бывает жаль близкого человека...

Честно говоря, мне не хотелось жить, и, если бы мне органически не была так чужда мысль о самоубийстве, я очень легко истратил бы на себя один из патронов моего отлично смазанного и безотказно бьющего нагана.

Базегский утешал меня, как мог. Санитарное судно тем временем причалило к Никольскому и высадило нас на берег вместе с нашими все еще не просохшими конями. Я направился в штаб полка.

XI

На рассвете следующего дня стало известно, что первый батальон, отбив атаки противника, с боем отступил от Соленого Займища и идет в Никольское. Появился в штабе и взволнованно обнялся со мной и Клюковский.

— Я был совершенно убежден в том, что вы погибли, — объяснил он свое необычное волнение и рассказал, как выбрался из Соленого Займища,

предварительно побывав в брошенном нами полевом штабе.

...Едва мы с Касперовичем уехали к себе, как на песчаном бугре, заслонявшем батальону горизонт, появились конники с красным флагом.

Флаг или знамя это было отлично видно, и так как 7-я кавалерийская дивизия вот-вот должна была вернуться из степи, то Ключковский, нисколько не колеблясь, решил, что идут наши конники.

Это был, однако, подлейший маневр белых. Скакавшая с красным флагом калмыцкая сотня, приблизившись к окопам, обнажила клинки и бросилась на растерявшихся красноармейцев.

— Батальон, пли! — тщетно командовал Ключковский, поняв свою ошибку. Два-три одиночных выстрела, произведенных из окопа, не причинили белым ни малейшего ущерба, казаки мчались во весь опор. Нервы необстрелянных пареньков, из которых был укомплектован батальон, не выдержали, и красноармейцы, побросав винтовки, начали сдаваться в плен или бежали. Кое-кто из казаков уже перемахнул через окоп, и, воспользовавшись сумятицей, Ключковский забежал на брошенную мельницу, за которой еще недавно стояли наши лошади, и пересидел в ней самые страшные минуты.

Наконец вокруг все стихло. Стрельба прекратилась, сдавшихся в плен красноармейцев угнали, в вымершем селе воцарилась тишина. Не имея представления о том, что делается в Соленом Займище, комбат решил пробраться в штаб полка, благо до него от ветряка было всего каких-нибудь четыреста-пятьсот шагов.

Ни у церкви, ни на улицах не было ни души, и, хотя это и насторожило Ключковского, он все же пошел к знакомому дому дьякона, в котором накануне расположился полевой штаб полка, довольно спокойно вошел в комнату — и обомлел.

За столом сидел мрачноватый человек в погонах есаула и внимательно просматривал брошенные нами бумаги. Судя по всему, это был тот самый лазутчик, которого я намеревался расстрелять. Трудно сказать,

когда он успел надеть погоны и где их прятал, пока сидел в сарае. Вероятно, красноармейцы не обыскали его, да и я не успел или не догадался это сделать.

Увидев есаула, сидевшего за столом, Ключковский настолько растерялся, что, не думая, разрядил в него револьвер, который на всякий случай держал наготове.

Утром в Никольское вернулся батальон Мишина. Атакованный конницей белых, он встретил ее дружными залпами и пулеметным огнем. Белые трижды переходили в атаку, но были отбиты. Отлично держался маленький Триандофилов, показывая бойцам пример мужества и бесстрашия. Мишин не мог нахвалиться своим комиссаром, и я был рад, что не ошибся в этом сразу понравившемся мне коммунисте.

Есть все основания предполагать, что поражение, которое потерпел в Соленом Займище 304-й стрелковый полк, было результатом предательства и измены. Ведь оба батальона заняли оборону только накануне вечером; ночь прошла спокойно, разведки боем белые не вели; о том, что наиболее уязвимым местом в обороне является второй батальон, могли знать только в полку. А между тем белые атаковали именно второй батальон.

Наконец и подлое использование белыми красного знамени помогло им деморализовать и опрокинуть этот батальон.

На всем своем дальнейшем тысячеверстном пути от Волги до Черного моря 304-й полк отлично дрался с белыми. Покрыла себя неувядаемой славой и вся наша XI армия.

Через несколько дней после событий в Соленом Займище приказом по армии я был назначен помощником комиссара 34-й дивизии; комиссаром ее был теперь Тронин. Штаб дивизии находился в Болхунах, одном из левобережных сел, битком набитом военными.

Хотя прошло немного времени, но Тронин, решив, что я достаточно освоил штабную службу и премуд-

рости дивизионного хозяйства, оставил меня своим заместителем, а сам уехал на фронт вместе с начальником дивизии Смирновым, мужественным и стойким коммунистом, считавшимся одним из лучших командиров в XI армии.

Шла осень самого тяжелого года гражданской войны. Решающий перелом на Южном фронте еще не обозначился, и над Москвой висела страшная угроза белого вторжения.

Неблагополучно было и в близкой к нам Астрахани. Неожиданно под большим секретом нам сообщили о только что открытом контрреволюционном заговоре, едва не стоившем Кирову жизни. Заговор этот и тогда показался всем настолько чудовищным, что в него трудно было поверить.

Всевозможные провокационные слухи всегда были одним из излюбленных приемов контрреволюции. Известный как «дело Илиодора» контрреволюционный заговор и начался с пущенного кем-то — видимо, английской контрразведкой — слуха о том, что Сергей Миронович Киров вовсе не Киров, и даже не Костриков, а царицынский иеромонах Илиодор.

В предшествовавшие революции годы Илиодор снискал себе довольно широкую известность разоблачением пресловутого Гришки Распутина, о котором написал и выпустил брошюру «Святой черт». Пытаясь убрать с дороги удачливого своего конкурента, он с помощью охраны замыслил даже убийство бывшего тобольского конокрада, но осуществить своего намерения не смог.

Распутин оказался победителем, и Илиодор попал в опалу и был сослан в Царицын.

Обладая незаурядным ораторским талантом, будучи одновременно и авантюристом и кликушей, Илиодор вскоре сумел своими истеричными проповедями снискать себе большую популярность среди наиболее отсталых и темных слоев пестрого населения волжского города.

Организаторами заговора были некая Вассерман, фельдшерица по профессии, заведовавшая губер-

ским отделом здравоохранения, и значившийся ответственным астраханским работником Иванов.

Усиленно распространяя слухи о том, что Киров самозванец и является не кем иным, как Илиодором, заговорщики сумели привлечь на свою сторону даже отдельных излишне доверчивых астраханских коммунистов.

Видимо, заговорщики воспользовались тем, что какое-то внешнее сходство у Кирова с Илиодором было. Они были ровесниками, носили одинаковые бородки, обладали ораторским даром и коренастыми фигурами; оспинами, оставшимися на широкоскулых и открытых лицах, карими глазами и цветом волос походили друг на друга.

Кто-то из заговорщиков пустил по рукам номер дореволюционного иллюстрированного журнала, в котором были напечатаны фотография и факсимиле царицынского проповедника. Эту фотографию заговорщики и предъявляли колеблющимся в качестве решающего доказательства «самозванства» Кирова.

Работая над трилогией «Большевики», я расспрашивал об этом кажущемся непонятным заговоре многих товарищей, в том числе и покойного Д. Котляренко, судившего заговорщиков, и тех, кто знал о «деле Илиодора» со слов самого Сергея Мироновича. Знакомился я и с сохранившимся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции следственным делом расстрелянной Вассерман.

Явившись поздно ночью в штаб армии, заговорщики арестовали комиссара его Кверкелия и затем уже направились на квартиру к Кирову. Сергей Миронович спал. Его разбудили и подвергли грубому и безобразному допросу. Какой-то негодяй или дурак заставил Кирова расписаться — в журнале было факсимиле Илиодора, и доморощенный графолог пытался по подписи Сергея Мироновича установить его тождество с царицынским иеромонахом.

Под домашним арестом Киров пробыл почти сутки и, кажется, лишь на второй день был освобожден по настоянию оказавшегося в Астрахани В. В. Куйбышева.

Суду Революционного Трибунала, если мне не изменяет память, были преданы только двое — Вассерман и Иванов.

Иванов и Вассерман были приговорены к расстрелу. Смертный приговор Вассерман был тогда же приведен в исполнение, Иванову же удалось бежать из астраханской тюрьмы.

Дальнейшая судьба Иванова мне неизвестна.

Неправдоподобный по своей нелепости заговор не мог не вызвать у армейских коммунистов повышенной бдительности. Мы и без того чувствовали себя, как на готовом вот-вот ожить вулкане. С нас, тех немногих коммунистов, кого посвятили в «дело Илиодора», взяли слово о сохранении строжайшей тайны. Я постарался забыть о всей этой фантазмагорической истории и вспомнил о ней только через шесть лет, когда в Ленинграде в длинном коридоре Смольного встретил Кирова и... не узнал его. Вскоре после суда над Вассерман и Ивановым Сергей Миронович сбрил чуть было не погубившую его бородку, и это совершенно изменило его лицо.

В начале декабря 1919 года штаб дивизии был переброшен в Астрахань. Намечалось формирование Экспедиционного корпуса для похода на Северный Кавказ, и Реввоенсовет стягивал в Астрахань нужные для задуманной операции штабы и тыловые учреждения. Вместе со штадивом выехал и я. Помнится, пароход, на котором с каким-то отделом штаба ехал я, около Енотаевска затерло во льдах, и нам пришлось пересест в крестьянские розвальни.

В Астрахани я заболел. Открылся туберкулез, нажитый еще в студенческие годы. Военная врачебная комиссия, обычно не признававшая никаких болезней, ибо было не до них, предоставила мне трехнедельный отпуск, но воспользоваться им мне не пришлось. На второй или на третий день меня вызвали в штаб и предложили выехать вместе с вновь назначенным командармом Василенко и Кировым на фронт под Царицын. Командарм ехал в специальном

поезде, в штабной вагон которого вместе с другими «чинами» штаба попал и я.

Василенко, оказавшийся впоследствии жертвой негодяя Берия и его шайки, был талантливейшим офицером и очень интересным человеком. Не то капитан, не то подполковник царской армии, он был мобилизован Колчаком и дослужился в белой армии до командира пехотной бригады. С этой бригадой он и перешел к нам и вскоре был назначен командующим XI армией. Во время разгрома Деникина он командовал IX армией, после гражданской войны был назначен инспектором пехоты Красной Армии, а в тридцатых годах — командующим Уральским военным округом.

Думается, что в том переломе, который начался осенью на фронтах XI армии и повел к разгрому белых на всех наших боевых участках, немалая заслуга принадлежит этому решительному, смелому и умному военачальнику. С Сергеем Мироновичем Василенко, кажется, быстро нашел общий язык.

Под Ахтубой поздно ночью я был вызван в вагон командарма. В небольшом салоне были Василенко и Киров.

— Мы решили назначить вас начальником снабжения Тридцать четвертой дивизии, — сказал мне Сергей Миронович.

— Да я ничего в этом деле не понимаю, — взмолился я.

Откровенно говоря, мне очень не хотелось идти на хозяйственную работу в армии — к интендантам истари относились в войсках довольно пренебрежительно, — да, наконец, меня куда больше занимала политическая деятельность и строевая служба.

— Ничего, научитесь, — ободрил меня Киров и, заметив мое огорченное лицо, прибавил: — Ничего не поделаешь, нам нужны свои красные хозяйственники.

Дальнейший спор был невозможен, я взял под козырек и вышел из вагона командарма, совершенно не представляя себе, что буду делать в новой своей должности и с чего надо начинать.

XII

Лето и начало осени девятнадцатого года было тяжелым не только для нашей XI армии. Располагая большей по численности армией, нежели наш Южный фронт, белая «Добровольческая армия» еще имела и решающий перевес в кавалерии, очень подвижной и позволяющей наносить по нашей пехоте быстрые и крайне болезненные удары. Исторический лозунг партии «Пролетарий, на коня!» не мог быть реализован в один-два месяца. Только с созданием больших кавалерийских соединений и прежде всего легендарной 1-й Конной армии Буденного генерал Деникин потерял то основное преимущество, которое белые имели на юге России.

Было у белых и другое преимущество — отлично сбученные офицерские отряды, опытный и имевший специальную подготовку командный состав.

Гигантская работа, которая развернулась в Красной Армии после VIII съезда партии, поставившего задачу ликвидировать партизанщину и создать регулярную армию революции, не могла не привести и привела к коренному перелому на театре военных действий.

На Южном фронте началось стремительное освобождение от белых и интервентов захваченных ими городов и губерний. Деникин покатился на юг, и ни английские танки, ни иностранное вооружение и снаряжение, ни инструкторы армии его величества английского короля не смогли даже на день отсрочить неминуемый крах белого движения!

После памятного разговора в поезде командарма XI я выехал в Черный Яр. Многомесячная осада этого «Красного Вердена» была уже снята, и о недавних боях напоминали лишь полузанесенные снегом проволочные заграждения под городом.

В Черном Яру я пробыл недолго; объединенными усилиями X и XI армий Царицын был, наконец, освобожден от белогвардейцев. Невзирая на морозы, степные метели и глубокий снег, наши части продолжали преследование разбитого противника, и командова-

ние, готовя удар по важнейшему коммуникационному узлу белых, создало на правом фланге армии так называемую Тихорецкую группу войск. В группу эту был назначен и я.

Не в первый раз я выехал в ночь. Стояли рождественские морозы. Голубоватый, переливающийся под луной снег скрипел под полозьями широких розвальней, новый мой коновод Гриша Полянский придерживал горячившихся коней; дорога шла по правому берегу Волги.

Насколько помнится, в состав Тихорецкой группы, кроме 34-й стрелковой дивизии, входила 7-я кавалерийская и приданная нам Южным фронтом 50-я стрелковая, начдивом которой был знаменитый Ковтюх, будущий герой «Железного потока» Серафимовича. Была придана группе еще одна кавалерийская дивизия, номер которой я уже забыл.

Штабу вновь организованной Тихорецкой группы было приказано развернуться в освобожденной от белых Сарепте. Тихий городок преобразился, в его каменных особнячках стало тесно от красноармейцев и командиров, провода полевого телефона протянулись по заснеженным улочкам, уже запруженным крикливыми верблюдами и заиндевевшими лошадьми бесконечных обозов.

На железнодорожной станции и на запасных путях стояли брошенные бежавшей «Добровольческой армией» эшелоны, валялось оставленное впопыхах оружие и снаряжение. Около нарядного, свежeverкрашенного в синий цвет вагона первого класса, видимо кого-либо из высоких чинов белой армии, становился на задние лапы и жалобно скулил покинутый хозяином медвежонок, привезенный откуда-то с Северного Кавказа.

Здесь в оставленной противником Сарепте мы с большим удовлетворением убедились в том, что белые, еще вчера хваставшиеся своей воинской доблестью, бегут с таким позором, какой трудно даже себе представить.

Не помню точно, какого числа февраля месяца 1920 года Тихорецкая группа прекратила свое су-

ществование, я же получил предписание вернуться в 34-ю стрелковую дивизию, которая к этому времени перешла в оперативное подчинение Конной армии Буденного и дралась с белыми уже на территории Северного Кавказа.

По пути нашего наступления на Ставропольщине почти в каждом селе, в каждой станице шла стихийно возникавшая запись добровольцев в Красную Армию. Больше всего было желающих вступить в Конную армию Буденного, и я не раз видел, как не только иногородние и станичная беднота, но и казаки со своими конями, седлами и даже оружием спешили в полки своего теперь уже прославленного земляка Семена Михайловича.

За год с небольшим хозяйничанья на Ставропольщине Деникин сделал то, что не под силу было самым пламенным нашим агитаторам, — и крестьяне и казаки, конечно, кроме заведомого кулачья, поняли, какой кабальный и несправедливый, ничем не уступающий проклятому царскому режиму строй несет им победа белых.

34-я дивизия дралась под Ходыженской. Противник оказывал слабое сопротивление и торопился выйти на Черноморское побережье, а если удастся, то уйги в меньшевистскую Грузию. Преследование белых теперь шло в горах. Отступая, белая армия подрывала мосты, а кое-где заваливала и тоннели.

Преследуя отступающих белых, 34-я дивизия дошла до Туапсе, и здесь с ней соединилась идущая из-под Новороссийска 50-я стрелковая дивизия и пятитысячная Красно-зеленая армия партизан Черноморья.

В Туапсе я был назначен начальником гарнизона города и его окрестностей.

XIII

Среди сохранившихся у меня, несмотря на все превратности гражданской войны, документов и писем имеется подписанный мною приказ № 17 от 19 мая 1920 года по гарнизону города Туапсе.

В этом приказе есть упоминание о «сдавшейся Кубармии».

Современному читателю, особенно молодому, слово «Кубармия» ничего не говорит. В лучшем случае он еще расшифрует привычный код того времени и поймет, что речь идет о Кубанской армии.

Сдавшаяся нашей дивизии под Адлером Кубанская армия на самом деле являла собой все, что осталось от так называемых вооруженных сил юга России, или ВСЮР, как официально именовалась белая армия генерала Деникина, еще с полгода назад казавшаяся англо-французским и американским капиталистам той силой, которая навсегда покончит с ненавистным большевизмом.

Капитуляция этой армии перед измотанной вконец стрелковой дивизией была одним из тех потрясающих чудес, которыми так богата героическая история нашей армии.

Распад Кубанской армии начался еще в Майкопе.

Член Реввоенсовета Красно-зеленой армии Черноморья Иван Борисович Шевцов приехал в Апшеронскую и неожиданно для себя узнал, что ему звонили по телефону... белые. Вскоре телефонный звонок повторился. Говорил из Майкопа генерал Данилов, командовавший отступающей армией, насчитывавшей, несмотря на потери, свыше семидесяти тысяч солдат и офицеров.

Судя по тому, что говорил генерал, белых крайне тревожила образовавшаяся в тылу у них Красно-зеленая армия Черноморья. После довольно продолжительных переговоров Шевцов согласился приехать в Майкоп, предупредив, что если с ним что-нибудь случится, то в Туапсе будут расстреляны семьсот белых офицеров, захваченных партизанами. Для того чтобы успокоить Шевцова, генерал Данилов прислал в условленное место двух заложников, членов пресловутой Кубанской Рады. Вдвоем со своим адъютантом, лихим матросом Подгорецким, Иван Борисович приехал в переполненный белыми Майкоп.

Знакомство и разговоры с белым генералом Даниловым закончились тем, что тот неожиданно предложил Шевцову «принять» от него город.

— Дайте мне сотню казаков, и тогда я соглашусь, — нашелся Шевцов.

Вместо просимых казаков Данилов предложил Ивану Борисовичу освободить из майкопской тюрьмы и вооружить находящихся там политических заключенных.

Начальник тюрьмы беспрепятственно пропустил в нее Шевцова, благо того привел адъютант Данилова. Но сами заключенные, боясь, что белые, покидая Майкоп, решили с ними расправиться, забаррикадировали двери в камеры. И только после долгих переговоров удалось положить конец колебаниям политзаключенных...

Гораздо позже Шевцов выяснил, что в городе работала подпольная большевистская группа, и она-то и заставила спасавшего свою шкуру белого коменданта освободить политических заключенных.

Так или иначе, к утру 20 марта 1920 года все они были уже на свободе, и Иван Борисович сразу же организовал из них Ревком и ту вооруженную силу, без которой в оставляемом белыми городе могло бы начаться бог весть что...

Только 22 марта в Майкоп, наконец, вступила Конная армия, а еще через три дня, связавшись по прямому проводу с Орджоникидзе, Буденный доложил, что «один из членов Реввоенсовета армии Черноморья т. Шевцов по занятии нами Майкопа был в городе; фактически Майкоп был занят ими после оставления его белыми»*.

Такова вкратце необыкновенная история сдачи города семидесятитысячной армией белых одному единственному (если не считать замешкавшегося где-то на Дровяной площади Подгорецкого) представителю большевиков.

Рассказывая об этой удивительной капитуляции, Шевцов признавался, что никогда в жизни, хотя и бывал во многих переделках, он не был так испуган,

* С. М. Буденный, Пройденный путь.

как в тот момент, когда Данилов предложил ему «принять» город.

Преследуемая 34-й дивизией, Кубанская армия почти не задержалась и в Туапсе. Дух армии был сломлен.

Продолжая отступать по шоссе, выходящему вдоль морского берега, белые заняли Сочи и вышли на грузинскую границу. С моря отступающую Кубанскую армию прикрывала судовая артиллерия английских военных кораблей, и не заупрямься грузинские меньшевики, белые ушли бы в Грузию. «Упрямство» же Ноя Жордания и его правительства объяснялось паническим страхом перед большевиками, опрокинувшими полчища Деникина и готовыми вот-вот появиться на границе Грузии. Кубанская армия оказалась в безвыходном положении.

Между Сочи и Адлером нам сдались в плен пятьдесят четыре тысячи солдат, офицеров и генералов Кубанской армии во главе с ее новым командующим. С командующим этим, генералом Морозовым, меня познакомил в Сочи начальник штаба дивизии.

— Знакомьтесь. Это товарищ Кремлев, а это генерал Морозов, — представил он нас друг другу.

Пожилой военный с седой генеральской бородкой предупредительно поклонился мне и с несколько преувеличенной готовностью пожал руку большевика, которого еще с неделю назад спокойно повесил бы на первом же телеграфном столбе.

Белая армия сдалась нам в плен, но сдавшихся было так много, что будь у них хоть какая-нибудь воля к продолжению борьбы, мы сразу же поменялись бы местами.

Из Туапсе я ехал на трофейном автомобиле вместе с комиссаром дивизии. Вез нас сдавшийся в плен белый шофер, комиссар щеголял в остроконечной буденовке, огромная красная звезда, пришитая к суконному шлему, была видна издали; кроме нас двоих, ни одного советского командира или солдата на всем многоверстном пути до Сочи не было, навстречу нам полк за полком шла сдававшаяся белая армия.

Между Адлером и Сочи белые сдавали артиллерию и штабелями укладывали винтовки. Никакого контроля над разоружением сдавшихся частей мы осуществить не могли. Холодное оружие и револьверы не сдавались и отбирались потом. В двигавшихся навстречу нашему автомобилю белых полках было всевозможное оружие...

Шофер умело вел машину по извилистой горной дороге. Автомобиль миновал разбитые мосты, карабкался на кручи, на полном ходу обегал ямы и выбоины. Менялись полки; с командиром впереди прошли донцы; а вот калмыки. А вот эти с волчьими хвостами на папах, вероятно, шкуровцы.

Попадись мы им еще недавно!.. А теперь они коснулись на огромную звезду, пламеневшую на буденовке военкомдива, смущенно улыбались и деликатно предупреждали:

— Осторожней, там рытвина!

И, право, они вполне искренне предостерегали нас. Да и как не предупредить хорошего человека! Чего ему, в самом деле, ломать шею на этом треклятом горном шоссе!

Долгожданный мир вместо длительной и упорной войны — что может быть более волнующим для любого бывалого солдата! На долю моего поколения выпала не одна война, и тем, кому пришлось побывать под ружьем, хорошо знакомо то волнующее чувство, которое охватывает при встрече со вчерашним врагом. И не оно ли, это ни с каким другим не сравнимое чувство заставляло встречных казаков так смущенно улыбаться...

Несмотря на свирепствовавший сыпняк и невероятные трудности стремительного марша по южно-русским степям, весна двадцатого года навсегда осталась в памяти любого красноармейца, командира и политработника Южного фронта как ощущение огромной, целиком поглощающей радости — угрожающий еще недавно самой Москве Деникин откатывался на юг с такой быстротой, что преследовавшая его Красная Армия порой не успевала даже войти в соприкосновение с противником.

Всем нам, участникам этого победоносного похода на юг, казалось, что гражданской войне пришел конец, что истерзанная разрухой и голодом страна получит долгожданный мир и возможность встать на ноги.

Даже объявляя красный террор, наша великая партия не отказывалась от органически свойственного ей гуманизма. Мстит и зверствует только тот, кто теряет, только поверженный класс. Голодные рабочие и нищие крестьяне, сражавшиеся в рядах Красной Армии, дрались за свое будущее. Они могли быть жестокими, если их к этому принуждали, но никому не мстили, не жаждали ничьей крови и были совершенно свободны от той злобы и ненависти, которая переполняла души бывших помещиков и фабрикантов, готовых отдать Россию в любую иностранную кабалу, лишь бы вернуть отобранные имения и фабрики.

Захватив в плен ту или иную часть Красной Армии, белые, построив пленных, прежде всего предлагали коммунистам и комиссарам выйти вперед; обычно тут же перед строем начиналась чудовищная расправа. Много лет спустя то же проделывали с нашими пленными и гитлеровцы — видимо, обреченный класс ни на что иное и не способен...

Не говоря уже о приказах Реввоенсовета республики, категорически запрещающих малейшее насилие над пленными, никто из красноармейцев, командиров и комиссаров Красной Армии не искал возможности свести счеты со сдавшимися или взятыми в плен белыми.

В только что освобожденном Майкопе мне пришлось по просьбе ревкома выступить на огромном митинге, собранном на пустыре около вокзала. В восемнадцатом году на этом пустыре генерал Покровский зарубил около трех тысяч майкопских рабочих. На братской могиле жертв этого неслыханного зверства и собрались майкопчане. Мне никогда еще не приходилось выступать перед таким огромным количеством людей; думается, что у вокзала собралось не меньше тридцати тысяч горожан.

И, выражая то, чем были полны умы и души моих бесчисленных товарищей по армии, я сказал, что Красная Армия не мстит, и от имени победителей призвал многотысячную толпу к долгожданному созидательному труду.

Усилителей тогда не было и в помине. Как ни звонок был мой молодой голос, донести его до многотысячной аудитории было бы невозможно, если бы меня не слушали затаив дыхание. И этому вниманию я был обязан не своим ораторским талантом, а тем, что говорил о гуманности победившей революции и об ее стремлении поскорее наладить в стране мирную и радостную жизнь...

В Майкопе ко мне пришел ушедший от белых офицер.

У него было молодое безусое лицо, лет ему было двадцать, не больше, на нем был рваный английский френч и стоптанные сапоги. Он умышленно отстал от своих где-то под Ходыженской и сейчас просился на службу.

Тогда это было в порядке вещей: «добровольческие» солдаты и офицеры массами сдавались в плен, убегали из деморализованных частей панически отступающей армии Деникина и приходили к нам; наши обстриженные сыпняком тылы, и не только тылы, пополнялись тогда исключительно за счет сдавшихся белых.

Я разговорился с пришедшим.

— Сотник Левицков, — отрекомендовался он.

Я спросил его, какой он части.

— Четвертой Астраханской дивизии, — просто-душно ответил он.

4-я Астраханская! Хорошо знакомая нам дивизия, сформированная из белых калмыков и астраханских казаков, действовавшая против нас на Черноярском участке Царицынского фронта в жестокие осенние месяцы девятнадцатого года.

4-я Астраханская дивизия! Именно эта дивизия разбила в Соленом Займище 304-й полк; под саблями этой дивизии погибли десятки моих товарищей по полку.

Я жадно расспрашивал озадаченного моей настойчивостью офицера. И удивительное, непостижимое совпадение! В бою под Соленым Займищем, в бою, роковом для половины нашего полка, этот самый сотник Левицков командовал сотней, прорвавшейся в село и тем решившей исход трагического для нас боя.

Пять месяцев назад сотник Левицков случайно не зарубил меня, сейчас он стоял передо мной, вытянув руки по швам, и почтительно отчеканивал привычное «так точно» и «никак нет».

Враг был уже побежден и беспомощен. Он не только не способен был огрызаться, но проявлял необычную и в то время искреннюю кротость.

До Туапсе сдававшаяся армия шла строем. В Туапсе, с огромным трудом и в прямой ущерб своим частям накормив пленных, мы формировали из них огромные, обычно в тысячу человек, партии и отправляли на Кубань, на Дон и в другие места, откуда они обманом были завербованы в армию Деникина.

Партии пленных пешком шли до Новороссийска, где их уже погружали на пароходы и в поезда. В людях мы испытывали жесточайшую нужду, и обычно для конвоирования пленных выделяли одного, от силы двух политработников, порой просто рядовых бойцов.

И не было случая, чтобы пленные не дошли до места своего назначения.



ГОРНАЯ СТРАНА ТАЛЫШ

I

В Баку я попал уже в конце лета двадцатого года с врангелевского фронта. Я первый раз в жизни видел эту нефтяную столицу старой России, и, пожалуй, больше всего запомнились бакинские норд-осты — холодные, пронизывающие и осыпавшие черной отвратительной копотью ветры.

Случилось так, что потом я добрых тридцать лет ни разу не бывал в городе, подступы к которому когда-то защищал. Приехав уже во время Великой Отечественной войны в Баку, я тщетно силился вспо-

мнить город, который когда-то хорошо знал. Огромный город с широкими, обсаженными деревьями улицами, новыми домами и трамваем, о котором никто из бакинцев в мое время и не мечтал, ничего общего не имел с тем типично «азиатским» и скученным Баку, который сохранился в памяти.

Но как ни неказист был старый Баку, за ним было чудесное революционное прошлое, и мы, командиры, политработники и бойцы освободившей Азербайджан славной XI армии, отлично знали, что без помощи широких народных масс, поднявших восстание против ненавистного мусаватистского правительства, наши усилия оказались бы тщетными.

От товарищей, приехавших в Баку задолго до меня, я знал, что еще в феврале там прошел нелегальный съезд Коммунистической партии Азербайджана, принявший решение о подготовке вооруженного восстания. В апреле бакинский пролетариат и трудящиеся Азербайджана восстали, и вновь созданный Военно-революционный комитет сразу же обратился к Ленину с просьбой прислать на помощь Красную Армию.

К нашему приходу азербайджанцы располагали уже отличными партийными кадрами, а некоторые из местных большевиков, такие, например, как Нариман Нариманов, считались виднейшими большевиками не только в своей небольшой стране.

Установление советской власти в Азербайджане очень скоро парализовало все усилия английских империалистов, не желавших расставаться ни с бакинской нефтью, ни с возможностью хозяйничать здесь, в Советском Азербайджане, с такою же бесцеремонностью убежденных колонизаторов, с какой они не первое столетие грабили иранский Азербайджан.

В Баку я застал Бориса, Розу Рокиту и Всеволода. Всеволод был уже председателем Ревтрибунала XI армии, в коллегия трибунала входил и Борис. Роза, сделавшаяся женой Севки (мы все еще по старой памяти называли грозного трибунальца его привычным уменьшительным именем), тоже работала в Трибунале.

Радость встречи была омрачена болезнью Бориса. Незадолго до назначения в Трибунал он с кавалерийской бригадой побывал на границе Ирана и, попав в славившуюся тропической малярией Ленкорань, скоро свалился с ног. Коварная болезнь не выпускала его из своих цепких лап. Мы не успели рассказать друг другу о пережитом за время довольно продолжительной разлуки, как Левин снова свалился. Его увезли в госпиталь, и я не раз, с трудом отыскав в какой-либо сохранившейся частной лавчонке горшочек с простоквашей, отвозил этот скудный подарок своему заболевшему другу.

В Баку отыскались и другие старые знакомые и приятели. 1-й Азербайджанской дивизией, куда я получил назначение, командовал известный мне по Болхунам Шевелев, а комиссаром был Полянский, с которым я подружился еще на Волге.

Правда, я недолго пробыл с друзьями. Всеволоду поручался Трибунал стоявшей на Кубани IX армии, и вместе с ним начал готовиться к отъезду и Борис. Вскоре они уехали, захватив с собой и Розу; и так как близких друзей у меня больше не было, то я невольно почувствовал себя покинутым.

1-я Азербайджанская дивизия просуществовала недолго, кое-как сформированные полки ее решено было свести в бригаду, я же был послан в 28-ю стрелковую дивизию, дерущуюся с дашнаками в горах Нагорного Карабаха.

Дивизия эта, прославившаяся своими боевыми операциями на чехословацком и колчаковском фронтах, с боями проделавшая огромный путь от Царицына до Кавказа, потеряла на Маныче своего организатора и начдива Азина.

Гражданская война создавала легенды. Партизан Азин был вылеплен из того же удивительного теста, что и легендарный Чапаев, и, наверно, найдется свой Фурманов, который навсегда обессмертит этого замечательного солдата революции.

Азина в дивизии я уже не застал, но «азинцев» и в частях и штабах было полно, и запиши я в свое

время их рассказы о своем нападении, получилась бы нужная и интересная книга.

Назначение мое в «азинскую» дивизию было связано с поражением, которое она потерпела от дашнаков под Зангезуром. Не помню уже точно, в чем было дело, но Реввоенсовет, считая виновником этого поражения командование дивизии, сменил весь ее руководящий состав.

До станции Евлах, считавшейся опаснейшим очагом тропической малярии, я добрался в роскошном вагоне первого класса, прицепленном к первому же отходившему из Баку составу. Но состав, к которому вагон прицепили, шел так, как ходили поезда в двадцатом году, часами и днями простаивая на полустанках из-за отсутствия топлива и железнодорожной разрухи; ослепительно синий вагон не отапливался, не имел воды, и я в конце концов перебрался в теплушку, в которой ехал мой Серый. О замечательном уме этого прекрасного животного хочется сказать несколько слов.

Полуараб, полуперс, он обладал неукротимым характером, сразу же дичал и никого не подпускал, едва выбежав из конюшни или вырвавшись из рук коновода, любил сбрасывать неосторожного всадника и был подвержен всяким иным дурным навыкам. И вместе с тем он был поразительно умен и на редкость послушен, если испытывал доверие к всаднику.

У меня с Серым было своеобразное молчаливое соглашение: если я ослаблял повод, это значило, что он должен направиться к ближайшему из тех мест, куда чаще всего отвозил меня: домой, в штаб и в политотдел дивизии, в подразделения. Все это проделывалось Серым в Ленкорани, и не было случая, чтобы он, получив знакомый сигнал, поступил бы как-нибудь иначе, то есть вместо штадива повернул бы домой или куда-нибудь еще.

На Сером своем я и добирался до Агдана по мрачноватому нагорью, известному в географии под именем Нагорного Карабаха. Мы же знали его больше по недавно подавленному контрреволюционному

мятежу и последней в истории многострадального Азербайджана армяно-татарской резне.

Мы как бы чередовались с Борисом. Я побывал на Кубани при ее освобождении от белых, теперь он поехал туда. Зато во время мятежа ему пришлось с кавалерийской бригадой, комиссаром которой он был, драться с мятежниками в Карабахе и понаблюдать немало диковинного. Умышленно разжигавшаяся царским правительством национальная ненависть дала тогда в Карабахе свои запоздалые, но чудовищные плоды, — Борису не раз приходилось видеть, с каким остервенением участники этой резни уничтожали даже грудных детей.

Обосновавшись в разбитом Агдаме, гарнизон которого мне пришлось принять, я собрался в Шушу в штаб дивизии. Несложное сегодня путешествие это заняло много времени, Шуша была расположена на большой высоте, и лошади с трудом преодолевали круто подымавшуюся вверх горную дорогу.

Командовавший дивизией командир, фамилии которого память, к сожалению, не сохранила, встретил меня, как старого знакомого, да мы и впрямь были знакомы — год тому назад мы воевали на Волге в одной и той же родной нам обоим 34-й стрелковой дивизии.

— Ежели повоюем еще года два, — сказал начдив в ответ на мое удивление по поводу этого неожиданного совпадения, — то наверняка будем все знакомы.

Трехлетие советской власти, казавшееся всем нам тогда залогом окончательной победы социализма, мы отпраздновали в Агдаме. Гарнизон наш к этому времени пополнился полком, сформированным из турецких солдат, попавших в русский плен во время империалистической войны и теперь добровольно вступивших в Красную Армию. Отлично экипированный армейским интендантством турецкий полк с выючными пулеметами на мулах лихо промаршировал по самой большой из агдамских площадей, вызывая восхищение агдамцев.

Недели две спустя дивизию погрузили в вагоны и отправили в Баку, где нас уже ждали пароходы и баржи.

Секретный приказ по армии говорил, что нас направляют в Ленкорань или, вернее, в Зуванд, или Талыш, горную лесную страну, образуемую Талышинским хребтом и находящуюся на границе Советского Азербайджана и Ирана.

В Зуванде оперировали созданные на английские деньги и обильно снабжаемые через близкую границу первоклассным английским оружием националистические, а точнее говоря, просто разбойничьи банды. С помощью так называемых шахсеван, персидских разбойничьих племен, давно занимавшихся набегами на соседний Азербайджан, банды эти захватили большую территорию края. Война предстояла долгая и трудная. Кроме англичан, в горах действовали еще и турецкие эмиссары, и, в частности, ранее подвизавшийся в Дагестане Нури-паша, брат известного турецкого националиста Энвер-паши, в дальнейшем сделавшегося одним из руководителей басмаческого движения в Средней Азии. Всевозможные ханы и князьки, еще недавно враждовавшие друг с другом и сводившие кровные счета столетней давности, теперь объединились с помощью английского золота и оружия и делали все, чтобы отбросить советские войска за Куру.

Погрузка на пароходы и баржи не заняла много времени. Но Каспий недаром даже опытными моряками считается одним из наиболее коварных морей. Едва мы вышли в море, как на нас обрушился шторм. Несчастный пароходишко, на котором нам довелось плыть, бросало, как щепку. Добрых два дня мы не могли подойти к Ленкорани и отстаивались в бухте, находившейся значительно севернее города. Наконец ветер стих, море улеглось, и мы пошли на выгрузку.

Удивительно пологое в этих местах дно Каспия не давало возможности даже мелко сидевшему пароходу подойти к берегу, и выгружаться пришлось в черные от смолы киржимы. Но и киржимы эти из-

за мелководья не доходили до самого берега, и последний десяток метров нам пришлось сделать на руках у здоровенных амбалов, давно привыкших к такому способу доставки пассажиров на землю.

Долгожданная земля оказалась загаженным до невероятия прибрежным песком, сереющий чуть поодаль город — проложенной в садах единственной улицей, являвшейся продолжением дороги из Муганской степи в Иран. У выезда в степь теснились лавчонки Малого базара, в противоположном конце стояли, вплотную прижимаясь друг к другу, точно такие же лавчонки Большого базара. Город считался уездным, имел две мечети, с десяток сектантских молелен, несколько тысяч жителей, преимущественно мусульман, среди которых грамотными по-тюркски были только муллы и сеиды, а читать и писать по-русски решительно никто не умел. И тем не менее у Ленкорани было уже свое революционное прошлое, достаточно героическое и яркое.

После падения советской власти в Азербайджане, вызванного предательством эсеров и меньшевиков и захватом Баку английским оккупационным отрядом, в Ленкоранском уезде довольно долго еще существовала Ленкоранская советская республика. Тесно связанные с бакинским подпольем ленкоранские большевики героически сохраняли советскую власть в тылу захваченного интервентами и буржуазными националистами Закавказья и вели самоотверженные бои с русской белогвардейщиной и местными беками и ханами.

Ленкоранская республика просуществовала почти целый год; защищая ее, смертью храбрых пал известный моряк-большевик Ульянов, а гибель ее, о которой в одном из своих секретных докладов сообщал Центральному Комитету руководивший бакинским подпольем Микоян, ликвидировала последний советский островок в Закавказье.

Рослый амбал опустил меня на влажный морской песок, и я очутился в Ленкорани. Пока квартиры хлопотали о размещении прибывших на пароходе красноармейцев и командиров, я отправился в белый

каменный особняк, где развернулся штаб дивизии, доложил о своем прибытии начдиву и сразу же погрузился в те бесчисленные хлопоты, с которыми связано всякое передвижение крупного войскового соединения.

Начались ленкоранские боевые будни.

II

Раненых почти не было. Были убитые, чаще в голову. Обычно противник бил из засады, из-за куста, из-за столетнего бука, тщательно целился с упора и стрелял наверняка.

Восточная изобретательность соединила современную английскую винтовку с персидской разбойничьей рогаткой. В походе рогатка торчала над дулом, как два изогнутых штыка; в бою она втыкалась в землю и служила упором.

Противник беззастенчиво игнорировал воинские уставы, пренебрегал традициями и принципами полевой и позиционной войны; узаконенный залп заменялся одиночной стрельбой в цель — ею являлась голова ближайшего красноармейца.

Где-то в Ардебиле на территории «нейтрального» Ирана английский консул нажимал спусковую пружину, щелкал ружейный затвор, и за четыреста километров в зарослях Зуванда падал убитый наповал саратовский или тамбовский крестьянин.

На высотах, в разбитых казармах прежних пограничных постов, в персидских мазанках и землянках тряслась в жесточайших приступах тропической малярии рассыпанная ротами, полуротами, взводами, отдельными заставами давно обессиленная дивизия.

Сухие цифры убедительнее любых красноречивых слов. За два осенних месяца в Карабахе через дивизию прошло четырнадцать тысяч маляриков. И это при среднем фактическом составе в десять тысяч человек.

Здоровые насчитывались единицами. Эвакуировали только в особо тяжелых случаях, остальные оста-

вались в строю. Но клин вышибался клином, и из малярной дыры дивизию маляриков перебросили в худшую.

Запасы спасительного хинина были ничтожны, госпитали обслуживали лишь незначительную часть маляриков; эвакуировать больных было нельзя — не было замены.

Хинин! Почему никто из поэтов не воспел его, почему о нем, о чудодейственном горьком порошке, до сих пор не написано героической поэмы! Надо было, цепляясь за выступы, карабкаться на высоты Зуванда, надо было исколесить опустошенные степи Мугани, надо было в беспамятстве, с обугленными губами валяться вповалку на земляных полах разрушенной горной казармы для того, чтобы понять, что о такой простой и обычной вещи, как хинин, можно напряженно и мучительно мечтать, ждать, надеяться и, не дождавшись, снова настойчиво и иступленно ждать.

Питерские, московские, иваново-вознесенские рабочие, саратовские, тамбовские, пензенские крестьяне, лимонные от желтухи, обессиленные тропической лихорадкой, мокли под зимними проливными дождями, вязли в горных снегах, совершали нечеловеческие переходы по узким, обрывистым тропам и сражались с противником, обычно невидимым, укрывающимся в зарослях и оттуда спокойно, прочно подперев винтовку рогаткой, метившим в облюбованный лоб.

Сапог не хватало, их просто не было; половина дивизии ходила в самодельных поршнях и в лаптях. Зимой на высотах люди мерзли в изношенных шинелишках, летом в тропический зной безмолвно изнурялись в засаленных ватных шароварах и продранных телогрейках.

Прозрачный от худобы малярик где-нибудь на далеком, заброшенном посту получал третьегоднюю соленую и слежавшуюся рыбу и, трясясь от очередного приступа, сам же лез под пули, карабкаясь по горным кручам за два-три километра за водой.

Нагорье Зуванд кишело бандитскими шайками.

Сколько их было, этих отрядов, действовавших против дивизии, набегами опустошающих муганские села и горные нищенские селения!

Английские консулы в Ардебиле, в Тавризе — и только ли там — работали не напрасно.

Край разорялся: степные пески засыпали выпитые зноем каналы; мертвели поля, которых никто уже не засеивал рисом; курчавились сочные травы и буйно рос молодняк там, где когда-то, выкорчевав столетние пни, седобородые сектанты дедовскими плугами взрыхляли тучную, сочащуюся перегноем землю.

Наджаф-Кули-хан, Шахверан, Санан — десятки ханов и беков, десятки отрядов, начиная от горсти горцев, вооруженных кремневыми ружьями, до тысячного отряда Наджаф-Кули-хана с пушками и английскими пулеметами — действовали против нас.

Нужно сознаться, что все они были не слишком хорошими вояками. Мастера подстрелить из-за угла, неожиданно напасть, вырезать сонных красноармейцев, они предпочитали не действовать в открытую. Сотни раз им представлялась возможность захватить Ленкорань, и сотни раз эту возможность они упускали.

В Ленкорани стоял штаб дивизии, размещались тыловые учреждения, находились все военные склады. Захват Ленкорани надолго парализовал бы дивизию, а захватить Ленкорань мог и эскадрон кавалерии.

Город не был укреплен, ни окопов, ни проволочных заграждений не было, а все, кто мог еще держаться на ногах и стрелять, давно уже были выведены из города и направлены в горы.

Охрану города от возможного набега несли сотрудники штабов и нестроевые команды; да и то нечто вроде самообороны с ночными тревогами и полевыми заставами организовывалось лишь в особых случаях, когда противник чуть ли не вплотную подходил к окраинным лачугам Ленкорани.

В угрюмые же дни бесконечных зимних дождей и редкого снегопада бывало совсем тихо. Но достаточно было выглянуть солнцу, как на ближайших склонах Зуванда появлялись банды.

Лиловый миноносец из состава Волжско-Каспийской военной флотилии, неподвижно застывший на подернутом янтарем рейде, выпускал очередную порцию снарядов. Морские снаряды, словно перегруженная вагонетка по рельсам, тяжело прокатывались над Ленкоранью и вырывали корявые воронки на лесных прогалинах и полянах — там, где еще ночью кабаны и шакалы справляли свои исступленные свадьбы.

Город уже привык к ежедневному гулу орудий. Сухопарый муэдзин, уловив тихую минуту, пронзительно возглашал с ветхого минарета славу аллаху и его могущественному пророку; как ни в чем не бывало правоверные совершали свой утренний намаз. В темных лавчонках Малого и Большого базаров унылые купцы переставляли с места на место один и тот же непочатый ящик контрабандного персидского кишмиша, тщетно ждали покупателей и, наскучив, усаживались на пороге, перебирали четки и сонно разглядывали окрашенные хной ногти.

Приходил на базарную площадь, небрежно ступая босыми ногами по тающему, выпавшему вчера снегу, горец; часами продавал, хрипло торгуясь, золотистую горную овцу с мечтательными глазами и чеканными копытцами на выточенных, как у джейрана, ногах. Скрежетали огромные, сплошные, без спиц колеса арбы; неуклюже раскинув рога, проходили флегматичные буйволы. И, как буйвол, медленно и лениво тянулась привычная жизнь под грохочущие удары морских орудий и доносящуюся с запада ружейную трескотню.

К обеду наступление противника обычно прекращалось, с тем чтобы назавтра же с утренним солнцем начаться вновь.

Но, право, Шахверан, если он жив и не расстрелян во благовременье, может пожалеть: морские пушки пушками, но любой ночью можно было взять Ленкорань почти без боя.

В борьбе с бандами дивизия была не одинока. Селение Гирданы сформировало партизанский мусульманский отряд чуть ли не в триста шты-

ков (штыки только термин, фактически штыков в отряде не было), села создавали боевые дружины.

Но тяжесть борьбы, усугубленная тем, что противник на неприступных высотах, в непроходимых, как джунгли, зарослях, был у себя дома, а красноармеец-крестьянин средней или юго-восточной России терялся в непривычной горной обстановке, — тяжесть борьбы этой лежала на больных и изнуренных бойцах дивизии.

Шахвераны, наджаф-кули-ханы, сананы и прочие — все они были только марионетками в руках англичан; ардебильский консул дергал за ниточку, и представление начиналось.

На наше счастье эти марионетки враждовали между собой, боролись за мифическую власть, предавали и продавали друг друга, интриговали, устраивали заговоры, и все это делали с таким восточным коварством и хитростью, столько неразрешимых тайн нагораживали там, где все, казалось, было ясным, что в пору Шехерезаде было бы сверхурочно поработать и сочинить сотни новых сказок для своей нескончаемой тысячи и одной ночи.

Дивизия была слишком обессилена для того, чтобы не ударить по ханам и бекам их же собственным оружием.

Отдельные бандитские главари начинали вдруг сложнейшие дипломатические переговоры с дивизией — дивизия шла на это, ибо, в худшем случае, выгадывала время, в лучшем же без боя обезоруживала противника.

Сильнейший из ханов Зуванда Наджаф-Кули-хан некоторое время был нашим союзником. Отряд у него был наиболее многочисленный в Зуванде, и его нейтралитет был нам как нельзя кстати.

Впрочем, в дивизии всегда недоверчиво относились к нему и нет-нет да ждали измены.

За неделю до измены Наджаф-Кули-хана начдив Козицкий, щуплый, по-польски вежливый и изящный, пристрастный, как и все люди небольшого роста, к огромным лошадям и потому возивший с собой по

дивизиям несуразно рослого донца, ездил к нему для каких-то текущих переговоров, — основой дипломатии в Зуванде были безмерно длинные, совершенно бесцельные, но неизбежные переговоры и разговоры. Наджаф-Кули-хан почему-то не воспользовался удобным случаем и выпустил Козицкого из расположения отряда.

Неделю спустя в осуществление тщательно подготовленной операции по ликвидации банд по войскам дивизии был отдан памятный приказ № 8. По приказу этому части дивизии должны были повсеместно в один и тот же час перейти в наступление и уничтожить противника.

Наджаф-Кули-хан «выполнил боевой приказ» в точности. В назначенный час, минута в минуту, он повернул фронт, напал на находящийся в тылу артиллерийский дивизион и вырезал застигнутых во время сна красноармейцев и командиров.

Пограничная линия тянулась на сотни верст. Отряды Шахверана, Наджаф-Кули-хана и прочих, разбитые нашими частями, беспрепятственно уходили в Иран и там отсиживались до нового нападения.

Ниже Ленкорани у Каспия, на речке Астаре, было нечто вроде официальной границы.

Деревянный мост связывал советскую территорию с владениями персидского шаха.

На мосту с нашей стороны маячил красноармеец, с той — шахский полицейский. Мы несколько раз из Русской Астары ходили в Персидскую.

Иранский полицейский зачем-то предлагал расписаться в толстой конторской книге; мы щедро составляли свои автографы и в сопровождении почетной стражи шли в гости к губернатору Астары.

Губернатор, сухонький старичок в старомодном сюртуке, любезно поил нас чаем с кишмишем и занимал через переводчика вежливыми до приторности разговорами.

Аудиенция кончалась. Мы прощались и шли на базар. В узких проходах прямо на улице в стеклянных лотках пачками лежали кредитки и серебро: персидские туманы, наши миллионы, английские фун-

ты, керенки, старые «николаевки» и доллары; а рядом в дощатых лавчонках открыто торговали винтовочными патронами, затворами, штыками и разным ружейным хламом.

По ту сторону стоял наш полк, дуло трехдюймовки совсем неделикатно повернуто было в сторону персидских холмов, по эту — степенные персидские купцы пили нескончаемый чай, торговали английской сарпинкой и мечтали о советском керосине.

Был еще один официальный пограничный пункт — Беясувар. Когда-то там была таможня, теперь же помещался красноармейский пост, а кругом на сотни километров граница с Ираном существовала только на карте.

Левее Беясувара, в горном Парамбеле дивизия имела нового союзника — Беюк-хана, пришедшего на смену Наджафу-Кули.

Отряд Беюк-хана был много меньше отряда Наджафа, что-то около двухсот штыков, опять-таки вопреки всяким принципам регулярных формирований, посаженных на коней.

Кто знает, что руководило Беюк-ханом из горного Парамбея: честолюбие ли (быть может, он, захудалый бек, в тайных мечтах видел себя «красным губернатором» Ленкорани), корыстолюбие ли (наивные несбыточные надежды на то, что русские окажутся щедрей англичан), инстинктивное ли предвидение неминуемого разгрома и ликвидации зувандского бандитизма, но некоторое время он пытался быть нашим союзником не за страх, а за совесть.

Отряд Беюк-хана был введен в состав дивизии в качестве специального пограничного полка. В отряд был назначен комиссар; одновременно отряду придали хозяйственную часть.

Вновь назначенный начхоз отряда, некий Барбарин, бывший офицер, был сорвиголова, под стать, пожалуй, самому Беюк-хану.

Суровую прозу наших будней он нарушил весьма романтическим и столь же нелепым поступком: неожиданно похитил и увез в Парамбель одну из штабных машинисток.

Увезенная (отнюдь не против собственного желания, как выяснилось потом) машинистка сделалась верной и совсем не романтической женой.

Увоз машинистки никаких «последствий» не возымел и доставил лишь несколько веселых минут работникам штаба.

Барбарин же (а в боевом отношении он был человеком совершенно надежным) был единственным дивизионным «оком» в отряде. Комиссар с Беюк-ханом, естественно, не ужился, и остался один начхоз. Его присутствие в отряде весьма пригодились для осуществления наших несложных, но необходимых «военных хитростей».

Беюк-хан долго и настойчиво выпрашивал пулемет. В конце концов ему выдали обещанный пулемет, но он до конца существования отряда находился не в отряде, а у того же Барбарина.

Начхоз же хранил и придерживал патроны — словом, опыта Наджаф-Кули-хана было достаточно для того, чтобы быть все время настороже.

Мне пришлось несколько раз побывать в отряде Беюк-хана в «родовом» его Парамбеле в селении Кара-Кязимли.

По обе стороны большого оврага желтели слепые, вросшие в землю мазанки; поодаль серел деревянный домишко несколько попросторнее с награбленными коврами на полу, со свернутыми в валики постелями на стенных полках (у Беюк-хана было больше сорока постелей, — он мог без стыда принимать гостей; недаром же он был неограниченным властителем Парамбея) — дом Беюк-хана. Справа тянулись бесконечные песчаные холмы Ирана, слева темнели лесистые отроги Зуванда, и над всем этим — выцветшее, истекающее зноем небо.

Приезд высокого гостя, — я приезжал из штаба дивизии, — обставлялся торжественно и пышно. Начинали с развлечений. По просьбе Беюк-хана начхоз швырял в овраг несколько ручных гранат, — и надо было видеть неистовый восторг всего населения Парамбея. Но наибольшее удовольствие от раскатистых разрывов получал, видимо, сам Беюк-хан. Смуг-

лое лицо его сияло, одобрителные возгласы срывались с губ каждый раз, когда черный дым, клубясь, подымался из оврага. Казалось, он ничего не имел бы против, если бы граната попала в его собственный дом, только бы услышать еще один оглушительный взрыв.

Но вот с гранатами, наконец, покончили. Коричневый мальчуган проворно спускался в овраг и осторожно водружал на кочку, на самом дне оврага, куриное яйцо.

Беюк-хан, командиры эскадронов, рядовые всадники усаживались с винтовками на краю оврага.

— Давай стрелять, — пригласил меня Беюк-хан, указывая на чуть белеющее яйцо. — Ты попадешь — лошадь дам, я попаду — верблюда давай.

В дивизионных транспортах были верблюды, каким-то чудом выжившие во время тысячеверстных переходов от Царицына до Зуванда. Я долго, но тщетно убеждал Беюк-хана, что верблюды не мои, что они как-никак являются народным достоянием и по своему желанию раздаривать их я решительно не могу.

— Казенные, — для большей убедительности прибавлял я. — Понимаешь ты, казенные.

Он так и не понял и, вероятно, решил, что я просто трусил. Да и как мог он, Беюк-хан, считавший себя полновластным хозяином Парамбея, понять, почему я, такой «большой красный начальник», вдруг не вправе отдать ему какого-то там верблюда, ведь у меня-то их много.

Пари не состоялось. Но от этого выгадал сам Беюк-хан.

Напрасно и он и его «приближенные» били по злополучному яйцу, оно оставалось невредимым.

И вдруг (каюсь, я неважный стрелок, но бывают случайные удачи) выстрелом из его же десятизарядной винтовки я разбил призовое яйцо. Лошади я не получил, но Беюк-хан сразу потемнел в лице, прекратил дальнейшие состязания, сердито отшвырнул винтовку и с этого времени, наверное, возненавидел меня.

Все они, от Беюк-хана до рядового всадника, не могли равнодушно держать винтовку в руках. Достаточно было снять при них винтовку с ремня и выстрелить в любую цель: в затаившуюся черепаху, в сухой стебель подорожника, в обглоданный лошадиный череп — как добрый десяток всадников немедленно соскакивал с лошадей и с упоением начинал бить по той же мишени.

Одному аллаху известно, сколько патронов они изводили; многие из них тратили последнее, чтобы купить патроны в Иране, и эти патроны расходовались сотнями без всякого смысла и толка. Голодный на хлеб не смотрит с такой алчностью, с какой они глядели на ваш патронташ. Не успеешь приехать, а уже патронташ очищен — выпросили по патрону.

Наученный горьким опытом, я брал с собой, отправляясь к Беюк-хану (и позже, объезжая в Зуванде замиренные отряды других беков), короткий японский карабин. Японские мелкокалиберные патроны никак не подходили к их английским и русским винтовкам, и жестокое разочарование немедленно же отражалось на омрачавшихся лицах.

И главари и рядовые всадники считали хорошим тоном наличие на груди и на поясе не меньше трех набитых патронами патронташей. Особым шиком являлись специальные патронташи на седле. Кажется, иной не расставался с патронташами даже ночью, во время сна.

Девятилетний сынишка Беюк-хана (отец, вероятно, смотрел на него как на «наследного принца») был затянут в набитые патронами патронташи и с утра до ночи таскал на себе не меньше четырех килограммов свинца.

Странную картину представлял этот иррегулярный полк дивизии. Оборванные, в поршнях, с лицами, будто вырезанными из потемневшего дуба, со сбитыми шапчонками на выбритых досиня головах, увешанные ардебильскими патронташами, с грозно вздыбленными рогатками за плечами, всадники сумасшедшим галопом — рыси горная лошадь не знает — неслись по персидским холмам; и тогда казалось, что

топот давно минувших столетий вновь сотрясает никем не меренные дороги и тень Чингис-хана встает над скалистыми отрогами Зуванда.

В селения горного Талыша уверенно проникали первые лучи такой далекой, городской, рабочей революции.

Я был на выборах первого Совета в Кара-Кизимлу во втором горном Парамбеле. Под отвесным солнцем дымились необозримые пески Ирана; у земляных нор в мусоре и отбросах рылись голые ребятишки; неясной тенью на самом горизонте промелькнули пугливые джейраны.

Шли выборы. Рослые горцы шумели, спорили гортанными голосами, ожесточенно жестикулировали. В стороне с нахмуренным и тревожным лицом большими шагами одиноко шагал Беюк-хан.

Выберут ли его? А вдруг нет?

Явно взволнованный, он подходил к выборщикам, перекидывался несколькими словами, снова отходил и начинал беспокойно шагать.

Крики и шум усилились. Заскоружлые руки внезапно поднялись над толпой.

Выборы кончились; Беюк-хан медленно и надменно поднялся на крыльцо; на просветлевшем лице его плавилась гордая улыбка — он был выбран в Совет.

Но не успел новый месяц трижды взойти над отрогами Зуванда, как Беюк-хан из второго горного Парамбея разочаровался во власти Советов.

То ли он понял, что никто из «больших красных начальников», даже сам «всесильный» Нариман Нариманов, никогда не назначит его губернатором Ленкорани, то ли почувствовал глухую угрозу в том новом, что невидимо и неуловимо проникало в селение Парамбея и заставляло поднять голову еще вчера покорно выплачивающего подати горца.

Так или иначе, но Беюк-хан охладел к своим новым союзникам.

На открытую измену он не отважился, но зато проявил себя иначе.

Недалеко от Белясувара на персидской территории чей-то отряд (кажется, Наджаф-Кули-хана) напал на местных русских крестьян, перерезал и раздел донага около сорока человек.

Были все основания подозревать, что в резне участвовал если и не весь отряд Беюк-хана, то, во всяком случае, отдельные всадники его. На всадниках Беюк-хана видели снятые с убитых вещи. Имелись сведения о переговорах Беюк-хана с главарями сражающихся с нами отрядов.

Но не пойман — не вор. Со дня на день мы ждали измены Беюк-хана, но свободных сил, которые можно было бы отвлечь с фронта для разоружения отряда, не было.

В эти дни я объезжал передовые части дивизии. Грешный человек, я сделал что-то очень солидный крюк для того, чтобы заехать в Белясувар и поесть яичницу с салом.

Был уже вечер. Долгожданная яичница (я мечтал о ней так, как не мечтают о встрече с возлюбленной) стараниями некогда похищенной машинистки была изготовлена и испускала сладостный аромат хорошо поджаренного сала. Но есть мне эту яичницу так и не пришлось. С пограничного поста (в Белясуваре находился пост Особого отдела дивизии в составе двадцати пяти вооруженных маляриков) прибежали за пулеметом.

Я прошел к начальнику поста. На пост ожидался совместный набег Наджаф-Кули-хана и якобы уже изменившего нам Беюк-хана. До Парамбея было километров пятнадцать, Наджаф-Кули с отрядом бродил где-то вблизи, на персидской территории. Кто-то из беков занимался очередной дипломатией.

Начальник поста показал мне только что полученное письмо.

«Дорогой начальник Особый отдел, — писал неожиданный доброжелатель, — Наджаф-Кули-хан вместе со своими верховыми перешел в дом Баграм-хана и хотел собирать Хаджибалинское и Асенорин-

ское общества и со стороны Белясувара начать воевать с вами. Я препятствовал. Поэтому Наджаф-Кули-хан взял своих верховых и вернулся обратно. С этой стороны не беспокойтесь. Сколь времени я здесь, не пропущу ихнего ни одного человека, чтобы воевать с вами и нападать на Белясувар. И когда такой случай будет, я вам сообщу.

Абдула-бек».

Письмо не только не рассеяло опасений — последние строились на весьма точных, хотя и не слишком официальных сведениях, — а наоборот. Этому Абдуле-беку можно было верить столько же, сколько и самому Наджафу.

Начали готовиться к обороне. Гарнизон (двадцать пять штыков, один пулемет) был приведен в боевую готовность. Чертова яичница грозила надолго осложнить мою жизнь.

Напротив Белясувара за высохшим руслом речонки лежал Персидский Белясувар — несколько десятков землянок и жалких лачуг. Население Персидского Белясувара давно уже тайно и явно сочувствовало Советам. И теперь персы через нарочного передали нам, что, узнав о готовящемся набеге, они вырыли окопы и своими силами будут оборонять Белясувар со стороны Ирана.

Поздно вечером я с начальником поста поехал проверять выставленные персами заставы.

Полная белая луна колыхалась в апрельском небе. В легкой дымке тумана тянулись посеребренные холмы. Чудовищные тени скачущих великанов преследовали нас. Осторожные копыта мягко шлепали по песку и илу пересохшей пограничной речонки.

Мы долго ожидали окрика часового. Лачуги безмолвствовали. В темнеющей под луной яме мы отыскали безмятежно спящего перса. Разбуженный часовой долго не понимал, в чем дело. Затем поднялся и о чем-то растерянно заговорил. Мы вгляделись.

Вместо винтовки героический перс был вооружен палкой.

Мы объехали остальные посты. И, в лучшем случае, навстречу нам подымались вооруженные палками персы.

Ожидаемый набег не совершился. Передумал ли Беюк-хан, струсил ли, но на открытую измену он не пошел.

Несколько позже карьера командира красного пограничного полка закончилась совсем необычно.

— Нариман Нариманов говорил, что можно богу молиться, — сказал Беюк-хан своим всадникам, простился с отрядом и с караваном паломников отправился пешком в Каабу, к Черному камню на богомолье.

III

Оперативные сводки изо дня в день меланхолически сообщали:

«...На участке полка бандиты численностью до 200 конных в 2 ч. с/числа со стороны Перстерритории пытались наступать, но, своевременно обнаруженные нашими заставами, были обстреляны и рассеяны. Потери: 5 убитых, 2 раненых. Расход огнеприпасов 9 300 винтпатрон.

Пасмурно. В горах туман и легкий дождь. Дороги грязные и тяжелые».

Бойцы, не имеющие спокойной минуты, изнуренные малярией, недоеданием и отсутствием необходимого обмундирования, были готовы отбить неожиданный набег банд.

В Ленкорани, в дощатом балагане, носящем громкое название «Государственного академического театра», шла беспартийная красноармейская конференция. В дощатые стены вторую неделю без перерыва назойливо стучал исступленный тропический ливень.

За дверьми притаился темный, с давно погасшими огнями, с размытыми улицами скученный городишко. Коварные мусульманские колодцы, плоские, цементной дырой воткнутые в разрытую ливнями землю,

подстерегали запоздавших красноармейцев. Заборы, ворота, дощатые крыши колодцев — все это было уворовано и сожжено еще в начале зимы, и теперь если неудачно свернешь в темноте, то по горло окунешься в студеную воду колодца.

Над Малым базаром раздраженно ревел прибой, под порывами ветра вздрагивали стены балагана.

Беспартийная конференция обсуждала животрепещущие хозяйственные вопросы: люди болеют, паек недостаточен, нет сапог, нет белья.

Мы, командиры и комиссары дивизии, приводили цифры, доказывали, убеждали.

Да, дивизия раздета, соглашались мы, но попробуйте подсчитать: того, что выдавалось, хватило бы на всех, если бы не «загон» обмундирования. Этот хронический «загон» был настоящим бедствием. Красноармейцы снимали с себя последние сапоги, последнюю смену белья; обмундированием фактически снабжалась не дивизия, а местное население.

Конференция не возражала, не отрицала фактов. Красноармейцы, со своей стороны, предлагали всевозможнейшие мероприятия. Все это было бы очень хорошо, если бы мы сами не фарисействовали. А фарисействовали мы невольно, но неминуемо. Мы громили неосознательных бойцов, подрывающих, так сказать, мощь Красной Армии, а сами отлично знали, что и мы-то далеко не без греха.

Вот начальник политотдела, отличный парень, саратовский, что ли, рабочий. Давно ли он загнал гимнастерку на такое заманчивое, розовое свиное сало? А вот начальник артиллерии. Не он ли на днях так удачно выменял смену бязевого белья на муку? А начдив Козицкий? А все остальные? А я сам?

Да и что было делать? Пакет выдавался немыслимый, месячного жалованья хватало на пачку папирос и коробку спичек (на ленкоранских базарах шла кое-какая торговлишка), обнаглевший желудок упрямо не принимал соленой астраханской рыбы.

Помню, месяца два я кормился одним луком: он был дешев и в изобилии продавался в лавчонках. Лук этот резался на куски и поджаривался на постном

масле, получалось не плохо. Вдобавок, как далекое и невероятное прошлое, вспоминался этакий бифштекс с гарниром.

Тогда же я сделал гениальное открытие — в одной из лавок я наткнулся на бобы. Они были дешевы, не требовали масла и решали сложную проблему питания. Открытием своим я поделился с редактором нашей дивизионной газеты Гришей Броварским, с которым познакомился еще в семнадцатом году на совместной работе в наркомате промышленности и торговли.

Отощавший донельзя Броварский пришел в восторг от моего предложения и обратил в бобы чуть ли не трехмесячное свое жалованье.

Увы, парню не повезло: купленные им бобы, точно назло, оказались червивыми.

Прошло много лет, но Броварский так и не простил мне этих злополучных бобов. И совсем недавно, уже старик и персональный пенсионер, он напомнил мне о своих обманутых надеждах.

Так мы и «загоняли» с себя все, что могли. Бойцы же были во много раз в худшем положении. Могли ли мы быть особенно требовательными к ним?

Правда, назначались поголовные проверки «вещевого имущества», издавались грозные приказы, но на этом все и кончалось.

Конференция, впрочем, вопрос этот принимала чрезвычайно близко к сердцу. Поражал подъем, с которым все эти беспартийные изнуренные красноармейцы, только что спустившиеся с кошмарных постов Зуванда, как свое, как близкое и родное дело, обсуждали общеармейские, зачастую по ним же самим бьющие вопросы.

Поражало и другое. Люди с исхудалыми, землистыми и желтыми лицами не жаловались. Личных жалоб на тяготы горной войны не было слышно. И не потому, что боялись высказываться, — боец, прошедший от Уфы до высот Зуванда, меньше всего боялся говорить начистоту, — а потому, что свое личное отходило на задний план и казалось маленьким и ничтожным.

К концу конференции был устроен литературный суд над Коммунистической партией *. Но, право, в суде этом было очень мало от сцены и литературы.

Беспартийные красноармейцы действительно судили партию, судили РКП (большевиков), волей которой их, саратовских, тамбовских и иных крестьян, закинуло под бандитские пули в заросли Зуванда, волей которой они сотнями вымирали от тропической лихорадки, волей которой они спокойно, как на ротном ученье, срывающейся в пропасти цепью наступали на неприступные твердыни ханов.

Суд этот запомнился мне на всю жизнь. Судебное заседание тянулось девять часов. Падающие от усталости после двух дней конференции красноармейцы все-таки не расходились — еще бы, судили ведь главную виновницу всех их бед и несчастий.

В половине третьего ночи под шум непрекращающегося ливня был вынесен приговор. 28-я стрелковая дивизия с возмущением отвергла все обвинения, которые когда-либо предъявлялись Российской коммунистической партии. Надо было быть тогда с красноармейцами, видеть их лица, слышать их возгласы и аплодисменты для того, чтобы раз навсегда понять секрет наших удивительных побед.

Конференция кончилась. Оперативные сводки по-прежнему грустили о трудных дорогах, но уже решительно и шумно шла закавказская весна. Начался весенний паводок. Жалкие канавы у рисовых полей набухли мутной водой и неожиданно превратились в сверкающие каналы. Тающий в горах снег потоками затопил камыши. Густыми стадами пошел по воде жирный, мечущий икру сазан.

В эти дни в Ленкорани не оставалось почти ни одного человека. Старики, женщины, дети, весь гарнизон высыпал в камыши. Рыбу глушили выстрелами, палками, ловили руками. Идешь по Ленкорани и видишь: тут же в городе, в уличной канаве, решительно засучив шаровары, два красноармейца возят-

* Литературный суд — одна из распространенных в то время форм агитационно-массовой работы.

ся с пустым мешком из-под овса; суют его зачем-то в воду, хлопают, стучат палками.

Глядишь, еще минута, и с торжеством на веснушчатом лице удачливый рыболов вытаскивает из мешка увесистого, двенадцатифунтового сазана.

Тростниковые корзины гнулись под тяжестью еще бьющейся рыбы; под жарким солнцем бронзовели сочащиеся жиром гирлянды подвешенных к жердям сазанов; толстый слой сбитой, тускнеющей чешуи покрывал подсохший суглинок.

Две недели во всех дворах варили и коптили рыбу, две недели гарнизон и ближайшие части отдыхали от опостылевшего пшена и соленой воблы.

С весной началась и охота. Чрезвычайно размножившиеся и осмелевшие кабаны заявлялись чуть ли не на Малый базар.

Летом, когда начали поспевать арбузы, кабаны под носом у караульщиков опустошали бахчи, расположенные у самого города. В трехстах шагах начинались первые постройки, караульщики на помостах и в шалашах оглушительно били в железные ведра, кричали, стреляли в воздух, неистово лаяли собаки. Но весь этот шум, видимо, не производил на кабанов никакого впечатления.

Рядом с шалашом внезапно раздавался громахающий шаг зверя; слышалось довольное похрюкивание; пользуясь темнотой, кабан невозмутимо взрезал арбуз за арбузом, небрежно откидывал неспелые и подолгу сопел над пришедшимся по вкусу.

На кабанов охотились не из блажи, а в силу необходимости — кабанье мясо надолго спасало от голодного пайка.

Жесткое мясо семилетнего секача казалось мягким и сочным, как нежнейший, сочащий слезы балык, тонкий слой желтого, твердого, как выдубленная воловья шкура, сала наполнял сердца изголодавшихся бойцов трепетом и неизъяснимым восторгом.

Находились изысканные гастрономы, ожесточенно выбивавшие ручной бутылочной бомбой образца 1914 года (при отсутствии деревянного или фарфоро-

вого молотка незаменимая принадлежность походной кухни) слежавшийся кусок хозяйственно просоленного кабаньего мяса и поджаривавшие на постном масле «настоящие свиные отбивные».

Вопрос об охоте ставился, так сказать, в дивизионном масштабе; делались попытки формирования специальных охотничьих команд. Но независимо от этого кабанов били везде, где они водились, а за исключением снежных вершин, они повсюду ходили стадами.

На зверя охотились с теми же «трехлинейками»; остроконечная малокалиберная пуля обычно не производила достаточного действия; пули надпиливались, обрезались, но и это слабо помогало.

Я видел кабана, пронесшегося мимо нас и стремглав переплывшего обширную заводь после того, как в него в упор были всажены четыре пули. Бурая взъерошенная свинья, изрешеченная пулями, с пробитыми легкими, с перебитыми ногами все-таки пыталась встать, стряхивала вцепившихся ей в уши остервеневших собак, медленно испражнилась и, в последний раз поднявшись на ноги, сдохла.

Порой на кабанов ходили с собаками. Мелкие, невзрачные собачонки, зачастую уже изорванные страшными кабаньими клыками, храбро подымали забившегося в колючую чащу зверя и гнали его на стрелков. Серебряным колокольцем звенел возбужденный лай; слышался все ближе и ближе... Вот яростный, неистовствующий, он обрывался на высокой, пронзительной ноте. Предостерегающе трещал опутанный паразитическими растениями кустарник; грузный зверь напрямую проламывал зеленую чащу и вихрем проносился через лесную прогалину.

Я не охотник, но я понимаю охотника, упоенно вспарывающего брюхо убитому зверю; собаки жадно набрасываются на вывороченные внутренности; в соседних зарослях еще раздаются одиночные выстрелы; тяжелую тушу с трудом подвешивают к дереву повыше, чтобы не объели шакалы; дрогнувшая ветвь медленно выпрямляется; облетевший лист, зацепившись, повисает на измазанной глиной щетине; а по-

веселевшие собаки уже нетерпеливо зовут по новому следу.

Но с собаками на кабанов охотились редко: собак было трудно доставать. Чаше ходили на «засидки». С вечера забирались на опушку леса, таились в канаве у края рисовых полей и ждали.

Вспыхивал, судорожно взметнувшись, поздний закат. Внезапно синели рыжие лужицы на еще не просохших рисовых полях; каменели кусты, поспешные сумерки сизым туманом уже клубились в сразу придвинувшемся лесу. Выходила луна. Светлели погасшие было лужицы и оловянными блюдцами раскидывались по челтыку. Где-то совсем рядом заливались плачущие шакалы. Невидимыми роями облепляли и безжалостно жалили комары. Чуть светился натертый мелом ружейный ствол. Слышался легкий хруст. Не кабан ли?.. Все явственнее, все громче... Неожданное темное пятно выросло около одинокого деревца. Не мерещится ли?.. Еще минуту назад его не было. Пятно двигалось и росло. Кабан?..

Кабанина бывала далеко не редким блюдом в дивизии, особенно на постах. Несколько экзотическое, но зато вполне реальное улучшение быта красноармейцев. Бывало и так, что кабанья туша являлась просто даром небес. Убившие зверя мусульмане любезно предлагали освежевать его и взять себе.

Нередко красноармейцы охотились на территории бандитов, но те почему-то их не трогали. Ненависть к дикой свинье, вероятно, побеждала ненависть к красным.

В свое время Муганская степь и узкая низменная полоска (когда-то дно Каспийского моря), что лежит между морем и горами, усиленно заселялись ссыльными сектантами.

Раскольники, жидовствующие, молокане, баптисты, прыгуны, хлысты — они так и расселялись отдельными селами.

Здесь — жидовствующие, белокрысы, с типичными славянскими лицами, но с монументальной синагогой, с еврейским приземистым кладбищем, отплевывающиеся не только от «трефной» свинины, но

готовые гоем* считать даже кавказского еврея; там — раскольники, длиннобородые, иконописные, особенно недолюбливающие вечно дымящего сигаркой красноармейца за его «проклятое зелье»; еще дальше — прыгуны со свальным грехом, с неистовствами истеричных «радений».

Но строились, независимо от религиозных различий, крепко, жили богато; да и сами-то недалекие потомки первых пионеров этого края, они являли собой здоровый, рослый народ отличных охотников и следопытов.

Я знал восьмидесятичетырехлетнего раскольника. Высокий, крепкий, кряжистый, как тот же зувандский дуб, он в зимнее время по аршинному снегу по двое суток без отдыха ходил по горам, упрямо отыскивал отлеживающегося кабана.

Знал я некоего Степана, страстного зверобоя, из-за охоты отбившегося от хозяйства, убившего за свою жизнь свыше тысячи кабанов. С ним вдвоем мы как-то охотились на зверя в обширных плавнях, что тянутся вдоль правого берега Аракса.

Мы уходили без собак по следу, и Степан читал запутанные кабаньи следы (узкие тропы были выбиты копытами диких свиней) с легкостью, с какой мы читаем книгу.

— Ш-ш... — внезапно вздрагивал он и предостерегающе шептал: — Кабан... Спит, должно...

В десяти шагах от нас из высоченного тростника вскакивал и, бултыхаясь, плыл по воде кабан.

— Ах ты, мать пресвятая богородица, спугнули! — огорченно кричал Степан и торопливо посылал пулю за пулей вдогонку скрывающемуся в новой тростниковой заросли зверю.

Впрочем, с нами, неопытными пришельцами, старики охотились неохотно.

Старик раскольник на первой же облаве сердито прикрикнул на меня:

«У тебя сапоги грохочут!..» И пренебрежительно

* Г о й — презрительное название иноверцев у фанатиков-евреев.

оставил меня в кустах. Да и где было мне поспеть за его легким, охотничьим шагом.

Красноармейцы промышляли обычно самостоятельно. Некоторые в конце концов настолько наловчились, что редко когда возвращались без добычи.

На птицу не охотились — не было ружей. Птицы же расплодилось неизмеримое количество.

На затемненных камышами озерах величественно дремали розовые фламинго, внимательно оглядывались осторожные лебеди, солидно покачивались селезни; тысячами назойливо суетились нырки.

В степях спокойно разгуливали степные дрофы; стремительно проносились пугливые джейраны. В села забредали степные ржавые волки, крестьянские собаки неожиданно щенились волчатами; в речных затонах вкрадчивые выдры подстерегали доверчивую рыбешку; перекати-полем перекатывались через дорогу дикобразы; в горах водились рыси, медведи и барсы — чем-чем, а фауной и флорой мы были богаты, даже слишком.

Но фауна, бог с ней, она все-таки подкармливала, а вот флора, та просто была ни к чему.

В вековых буковых лесах чрезвычайно трудно было вести даже простейшие боевые операции, тропические заросли скрывали бандитов и готовили смертоносные «сюрпризы», а экзотическая обстановка — о ней очень приятно вспоминать, но жить в ней далеко не радостно и не легко.

Кстати, о злополучной экзотике. В горах нередко попадались тигры, а летом под самую Ленкорань внезапно забрел лев и беззастенчиво задрал двух коров, принадлежащих красным аскерам * партизанского отряда селения Гирданы.

Я как-то говорил с аскерами — свидетелями и жертвами этих «империалистических зверств». Они категорически уверяли, что это был действительно лев, а не тигр. И в доказательство красноречивыми жестами рисовали огромную и совершенно фантастическую гриву.

* Аскер — солдат.

Я имел «высокую честь» быть лично знакомым со всеми, за исключением разве Наджаф-Кули-хана и Шахверана, главарями сражавшихся против нас бандитских отрядов.

С Сананом мне пришлось познакомиться еще в январе.

В штаб дивизии было передано, что Санан готов отказаться от дальнейшей борьбы и начать мирные переговоры. После сложнейшей «дипломатической» переписки и переговоров через третьих лиц было назначено свидание. Встреча Санана с командованием дивизии была назначена за пределами расположения наших войск, километрах примерно в пятнадцати от Ленкорани.

В условленный день к месту встречи выехал начдив Козицкий, Ширали Ахундов, председатель уисполкома, начальник Особого отдела и еще несколько человек, в том числе и я.

Мы миновали последний пункт нашего расположения — крохотное селение, в котором стояло с полэскадрона наших кавалеристов, — свернули с изрытого шоссе и начали спускаться в заросшую ложбину.

Кто-то из проводников указал на темнеющую вдали хижину. Встреча должна была состояться именно в ней.

Мы спешили и, оставив коней, прошли к назначенному месту.

Хижина была пуста. В одной-единственной, лишенной всякой мебели комнате высился неуклюжий камин с первобытной прямой трубой и, как след отсутствующих хозяев, валялся ржавый железный кувшин.

Санана не было. Началось томительное ожидание. Прошел час, пока, наконец, не вырисовались крохотные фигуры всадников. Санан!

Через полчаса запыхавшийся проводник сообщил: Санан прибыл, готов вести переговоры, привез в знак

мирных намерений барана и мед, но с нами красноармейцы; а вдруг это засада? Санан обеспокоен, Санан не верит и не спустится вниз, пока мы не уберем наш отряд.

Через того же проводника мы передали Санану, что никаких красноармейцев с нами нет, что те, кого они со страху приняли за целый отряд, всего-навсего оставленные с лошадьми коноводы.

Тщетно! Санан упорно отказывался спуститься с горы.

Опять медленно потянулось время.

Особой доблестью Санан, однако, не отличался. Вооруженные одними револьверами, без конвоя, за добрый километр от наших кавалеристов, мы были фактически у него в руках. И все-таки он боялся нас.

Вдали, на зеленеющих склонах гор, обступивших ложбину, что-то закопошилось. Мы вгляделись. Осторожно переползая от куста к кусту, словно этикие команчи или анахи романтических времен Фенимора Купера, бандиты окружали нас сжимающимся кольцом.

Мне надоело ждать. Я взял проводника, перебрался через речонку и пошел навстречу Санану. С горы меня, вероятно, заметили, но я дошел почти до самой вершины, когда внезапно затрещали с силой раздвигаемые кусты, и я увидел Санана.

Высокого роста, не без склонности к полноте, с несколько обрюзгшим красивым лицом, в хорошем френче и каракулевой шапке, на великолепном сытом коне, он заметно выделялся среди остальных. Впрочем, встретить я его в ином месте, без бесчисленных патронташей, стягивавших его грудь, без перекинутой через седло винтовки, я скорее принял бы его за содержателя какого-нибудь второразрядного ресторана с отдельными кабинетами и восточной кухней.

Санан был не один; пять седобородых, оборванных, в истоптанных поршнях, но увешанных патронташами и оружием стариков мрачно и важно окружали его.

Кто-то из них ожесточенно потряс мне руку и торжественно сказал:

— Поздравляем со знакомством!

По правде сказать, я был не особенно польщен этим необычным знакомством. Но дипломатия обязывала...

Я сказал седобородым бандитам небольшую и, увы, далеко не блестящую речь. Смысл ее сводился примерно к тому, что наши намерения и мысли чисты, как совесть народившегося ягненка; что говорить о засаде может только тот, у кого аллах затемнил разум; что оставленные с лошадьми коноводы бессильны, как малые дети, и совсем не солдаты; что я, наконец, никогда не отважился бы пойти к ним один, если бы не считал их уже нашими союзниками и друзьями.

— Вы же видите, я не боюсь вас, — гордо прибавил я и сразу же струсил: а вдруг они передумали! Амплуа «Кавказского пленника» никак мне не улыбалось.

Кто-то из бандитов в ответ на мое красноречие одобрительно похлопал меня по плечу. Второй с нескрываемым интересом уставился в деревянную кобуру моего маузера. Третий оживленно заговорил о чем-то с Сананом. Я снова пригласил моих почтенных знакомых в ложбину. Помявшись и посоветовавшись со стариками, Санан согласился, но с тем, чтобы переговоры велись не в хижине и не по ту сторону речки, а по эту.

На вспаханной кабанами земле откуда-то появился ковер. Цепь прячущихся за деревьями стрелков сузилась и как будто повисла над головами.

Потрескивая, задымился костер. Круторогий «баран мира» (какая своеобразная, но разумная замена традиционной оливковой ветви) тут же покончил свое существование.

Стоял январь, но было тепло, день выдался на редкость погожий. Нарядно голубело небо, фыркали стреноженные кони бандитов. Мы солидно присели на корточки. Окажись возле нас кинооператор, могли бы получиться весьма занятные кадры.

Увы, оператора в рыжих крагах и ковбойской шляпе не было, не было и подержанного «кодака», и лесное совещание наше с Сананом так и осталось незапечатленным. Да и результаты этого свидания были самые невеселые. Санан вел двойную игру. В бесконечно длинных разговорах он дипломатически обходил основные вопросы. Санан рассыпался во всяческих заверениях, но и только.

Бросалась в глаза и характерная подробность. Санан не прикасался к еде. А ведь горец никогда не станет есть у своего врага или с врагом.

Мы вернулись в Ленкорань. В этот же день поздно вечером пришло неожиданное и жестокое известие: чуть ли не через час после того, как мы расстались с Сананом, отряд Шахверана напал на расположенный в километре от хижины, в которой должно было произойти свидание, полуэскадрон нашей кавалерии. Бойцы, отбиваясь от превосходящих сил противника, потеряли убитыми и ранеными около тридцати человек и свыше половины лошадей.

Как выяснилось позже, Шахверан был осведомлен о наших переговорах с Сананом и во время свидания находился со своим отрядом в нескольких километрах от нас. Почему он не перебил нас, мне до сих пор непонятно. Был, правда, слух, что в этом ему помешал Санан. Но ведь тот же Санан после памятного свидания в течение ряда месяцев, вопреки сделанным заверениям, по-прежнему сражался с войсками дивизии. Да и не участвовал ли сам Санан в этой резне?

V

Между делом как-то незаметно дивизия делала большое культурное дело. В лесной глуши, на вершинах Зуванда, в заброшенных селениях бойцы давали первые практические уроки советской работы.

Власть хана и муллы проклятьем тяготела над забитыми горцами, и эту власть свергала не столько винтовка, сколько простое, нужное, хоть порой и

сказанное на малопонятном языке, но всегда достигающее своей цели слово.

Внешне веками сложившийся быт мало менялся, но внутри шла разрушительная работа. Внешне все шло по-старому. Дивизионная газета твердила о социалистическом переустройстве всего мира, а рядом с военной типографией в мрачные дни шахсей-вахсей* правоверные рубили себя кинжалами и саблями во славу убиенного брата пророка.

Правда, некий свет буржуазной культуры проник сюда еще до революции: местные лавочники, например, берегли свои холеные лбы и за соответствующую мзду нанимали за себя бедняков.

Я наблюдал знакомого лавочника с Малого базара, ревниво следящего за тем, как рослый амбал, отмаливая грехи нанимателя, рассекал в кровь свой выбритый череп. Лавочник был явно недоволен: негодяй амбал истязал себя на значительно меньшую сумму, нежели получил.

На общегородских собраниях выносились резолюции «о Советском Азербайджане, как прочной базе для дальнейшего революционизирования Востока», но в самой этой «базе» (мы имеем в виду азербайджанскую деревню) пока еще только чуть-чуть треснула и крошилась крепкая скорлупа феодального быта.

На рисовых полях, пока муж и повелитель по-прежнему отсиживался на Большом базаре, мечтательно перебирая янтарные четки, обессиленные женщины по колено в ледяной воде руками сажали челтык.

Огромный край не видел еще ни одной мусульманки без чадры; наши полковые врачи были, наверное, первыми, кто пришел на смену муллам и знахарям и заглянул в женские половины, где под шелковым тряпьем пышно расцветал благоприобретенный мужьями сифилис.

Религиозный культ справлялся с педантической точностью, невзирая на боевую обстановку. Помню

* Шахсей-вахсей — мусульманский траурный праздник в честь убитого брата Магомета—Гуссейна.

курьезный случай, причинивший нам немало неприятных минут. Праздновался, если не ошибаюсь, байрам*.

В политотделе шло совещание комиссаров частей. Город переживал тревожные дни — банды были в трех-четырех километрах от Ленкорани.

Смеркалось. Неожиданные ружейные выстрелы прервали совещание. Все выскочили во двор. Стрельба усиливалась, одиночные выстрелы сменились залпами, перестрелка шла на окраинах и в садах — именно там, где в первую очередь можно было ждать бандитов.

Встревоженные красноармейцы с винтовками выбегали на улицу. Поднялась паника. Лишь позже выяснилось, что это «верующие», не предупредив даже коменданта города, салютовали по случаю великого праздника.

Как относилось к нам туземное население? О крестьянской бедноте говорить не приходится. Но и мелкая городская и сельская буржуазия скорее симпатизировала нам, нежели нашим противникам, хотя ни на минуту не забывала о том, что мы все-таки «неверные», «гяуры».

За год боевых операций я не слышал ни об одном случае мародерства со стороны бойцов, грабежа, насилия над женщинами.

Кое-кто из нас изучал азербайджанский язык, делались попытки организовать специальные курсы для политработников, но ни книг, ни учителей, естественно, не было. Благие намерения невольно оставались только намерениями. Около четырех месяцев я добросовестно писал справа налево, и, хвастаясь, написанная мною «эмла»**, порой имела не так уж много ошибок. Мой учитель, сеид и потомок пророка, был на редкость милым человеком и неисправимым романтиком. Такой же липовый охотник, как и я, он

* Б а й р а м — мусульманский праздник, празднуется после месяца поста.

** Э м л а — по-азербайджански диктовка.

таскал меня в проливные дожди по болотистым зарослям в поисках мифических кабанов; мы бродили по пояс в ледяной обжигающей воде — был декабрь — без собак, без малейшего умения разбираться в следах и, конечно, совершенно впустую.

Преподавал он, надо сознаться, далеко не блестяще. Арабская письменность мне давалась легко. Мой учитель говорил мне, что еще год-два, и я — о счастье! — сумею читать священный коран, но с переводами получалось худо.

— Яйтаг, — говорил мне мой лирический учитель, — понимаешь, летом... Ну, понимаешь, очень жарко...

— Зной, — догадливо подхватывал я.

— Нет, — досадливо морщился он, — не зной... Понимаешь, — снова объяснял он, — совсем жарко.

— Засуха...

— Нет. Ну, слушай... Понимаешь, летом очень жарко, идешь на гора... Понимаешь, большой гора...

— Экскурсия, — подхватывал я.

Через полчаса оказывалось, что яйтаг — это дача.

Конечно, пробить толщу религиозного фанатизма было не легко. Недружелюбное отношение к нам, как к людям чуждой национальности и вдобавок заведомым безбожникам, сказывалось порой самым неожиданным образом.

Вспоминаю мелкий, но характерный случай.

В Ленкорани я жил у мусульман, был в добрых, чуть ли не в дружеских отношениях не только с моими хозяевами, но и с женской половиной дома.

Женщины поначалу дичились меня, затем привыкли, ходили при мне без чадры, разговаривали со мной и даже нет-нет да заходили в комнату.

— Мы к тебе как к родному относимся, — отвечал мне на мои расспросы один из хозяев, — поэтому и женщины тебя не стесняются.

Я был несказанно горд. Вот это подход к туземному населению, вот это такт!

Несколько времени спустя ко мне зачастил один студент-мусульманин. И каждый раз, когда он по

пути в мою комнату проходил по двору, женщины бросались врассыпную, и даже старуха мать и та закрывала свои семидесятилетние морщины.

— Вот, друг мой, — хвастливо сказал я своему знакомому, — я не мусульманин, а вы поглядите, как доверчиво относятся ко мне мои хозяева. Женщины и те ходят при мне открытыми, без чадры.

Студент неожиданно покраснел, жестоко сконфузился и, помявшись, сказал:

— Вы не обижайтесь, но я для них «адам» * — человек правоверный, им никак нельзя показаться передо мной без чадры. А вы, — тут деликатный студент снова пронзительно покраснел, — вы же — в их глазах, конечно, — поправился он, — «неверный», «гяур», «ит» **, так чего же им вас стесняться, раз вы даже не человек?

VI

На 1 Мая был назначен парад войскам Ленкоранского гарнизона. Из Баку должен был приехать командующий корпусом Тодорский. И вот тут-то получился конфуз.

Ни одной боевой части в Ленкорани не было, даже команды штаба и Особого отдела и те были двинуты в горы.

Решили схитрить. Обозники, пекари, сапожники, кашевары и каптенармусы пообчистились, приоделись и наспех занялись маршировкой; из складов и мастерских извлекли испорченные пулеметы, водрузили на тачанки, перевили зеленью; к винтовкам обозников привинтили штыки; на замасленные фуражки нацепили весь имеющийся запас красноармейских звезд.

В торжественный день на загородном плацу импровизированные полки рота за ротой, великолепно печатая шаг, прошли мимо приятно пораженного Тодорского.

* Адам — по-азербайджански человек.

** Ит — по-азербайджански собака.

Комкор приветствовал проходящие войска.

«Боевые орлы» из дивизионных хлебопекарен и мастерских зычным «ура» отвечали на приветствия; на разукрашенных зеленую тачанках лихо прокатывали нестреляющие пулеметы; победно, совсем как на батальных картинах, сверкали штыки над героическими рядами дивизионных портных и сапожников.

Парад имел только одно уязвимое место. — не было кавалерии. Правда, обозников не хитро было посадить верхами, но конский состав дивизии был в таком состоянии, что показывать его по меньшей мере было бы неприлично. На выпирающих ребрах еле-еледвигающегося от бескормицы «консостава» висели клочья еще недожранной чесоткой шерсти; чесотка и сап, зловещие спутники гражданской войны, дошли с дивизией до косматых отрогов Зуванда.

На долю обозников выпали незаслуженные почести, бойцов на горных постах в этот день никто не приветствовал.

Но и обозники, по совести говоря, имели право на почести. Оборона города как-никак лежала на них: весной было время, когда из тех же обозников и пекарей пришлось сформировать особую роту и бросить в горы; рота эта с месяц честно сражалась с бандитами, хотя и носила совсем «непристойное» название: Рота отдела снабжения.

И, наконец, тылы наши состояли из тех же бойцов, лишь вчера еще бывших в боях, а сегодня по болезни, по истощению, по инвалидности попавших на «отдых», на тяжелую работу в обозы.

Да и «привилегированным» тылам, сотрудникам штаба и дивизионных учреждений жилось не сладко. Малярия ежедневно валила десятками, а заменять было некем. И получалось так, что иной высидит в штабе до вечера, доберется кое-как до дому, отлежит вечер без памяти в сумасшедшем приступе тропической лихорадки, а назавтра снова, пошатываясь, бредет на работу. Тропическая малярия изнуряла с неимоверной быстротой; неделя-другая — и от человека оставался обтянутый ярко-желтой (от жел-

тухи) кожей скелет. Обычные осложнения малярии — чудовищный понос — добивали окончательно; очередной приказ отмечал выбывшего по болезни такого-то или с той же невозмутимостью списывал неудачливого покойника с «продуктового, приварочного и вещевого довольствия».

Наступившее лето не ослабило эпидемии.

Шел май. Город, заплеванный, загаженный человеческими и конскими испражнениями, внезапно превратился в цветущий сад. Тысячами распускались розы в садах, воздух пропитан был терпким и пряным их ароматом, а оперативные сводки по-прежнему сдержанно грустили о трудных горных дорогах и потерях людей и огнеприпасов.

В начале лета сорванное изменою Наджаф-Кулихана решительное наступление на противника было возобновлено.

В один и тот же час на всех участках огромного фронта наши части перешли в тщательно подготовленное наступление и наголову разбили бандитов.

Шахверан и Наджаф с остатками разгромленных банд бежали в Иран, остальные главари отрядов сдались на милость победителя. Началось разоружение разбитых отрядов, особые комиссии обшаривали горные селения; в Ленкорань возами свозили сдаваемое горцами оружие: английские винтовки, русские трехлинейки, берданки и даже кремневые ружья. Последние сдавались совсем не в качестве музейных предметов; полутораметровый ствол иного прадедушкиного ружья с аккуратным кремнем в курке был тщательно смазан и говорил о недавнем употреблении.

Несколько позже вновь назначенный начдив Шумахер объезжал селения Зуванда. Для организации Советов в горных селениях с нами выехал и председатель исполкома, упомянутый уже Ширали Ахундов.

В горах бродили еще остатки банд, и, снова вернувшись из Ирана, оперировал Шахверан. Для охраны Ширали Ахундов взял с собою человек пятьдесят из партизанского отряда, что стоял в Гирданах.

На низкорослых горных лошаденках, уверенно ступающих по крутым и узким карнизам, мы карабкались по горам; порою тенью своей нас покрывали вековые буковые леса; партизаны легким и неслышным шагом рассыпались по зарослям, и тогда окружающее казалось ожившей страницей из того же забытого Купера.

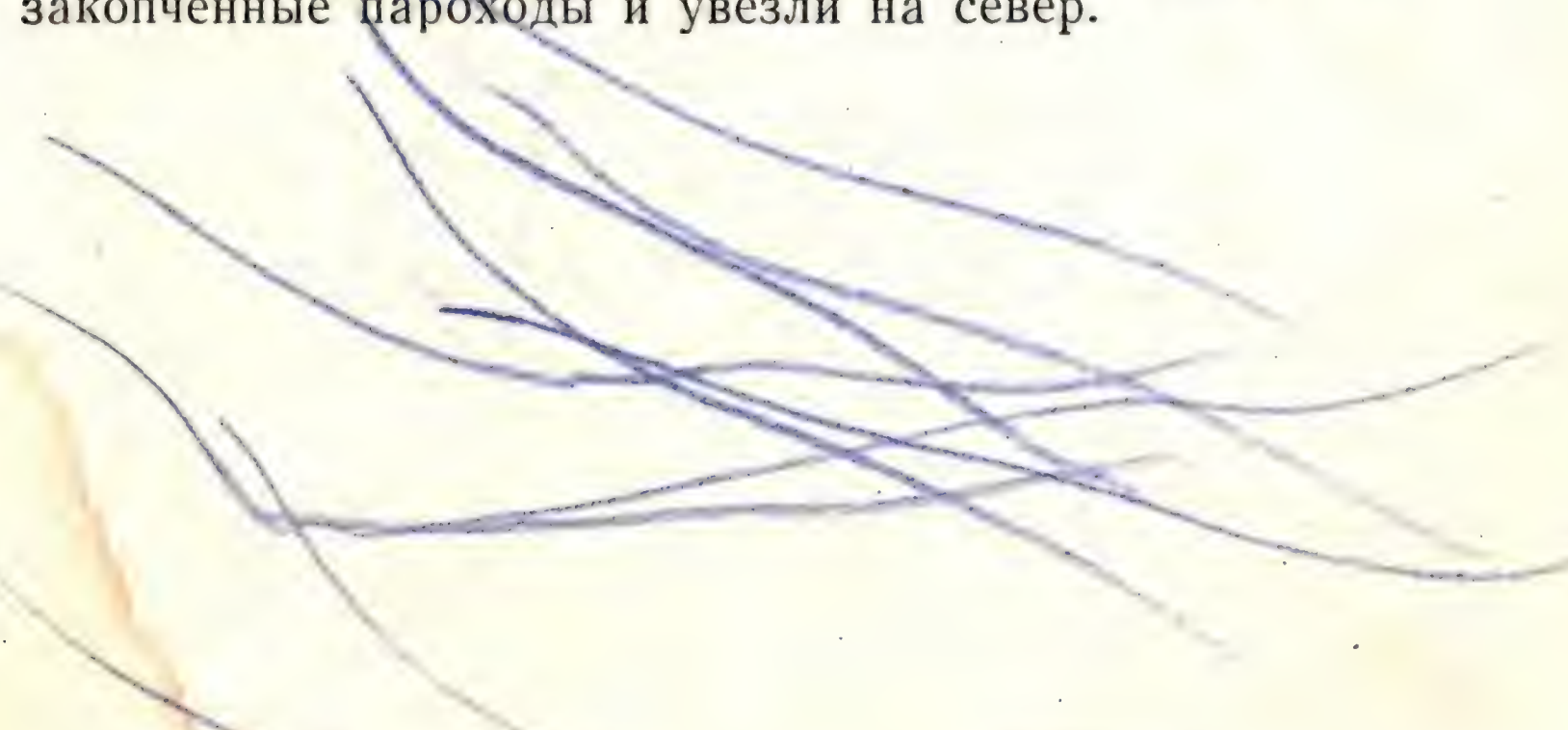
В горных, лепящихся на крутых вершинах селениях мы делали привалы; сдавшиеся главари еще вчера сражавшихся банд обильно кормили нас жирным пловом с многообразными приправами из сладкого мяса и укладывали спать на шелковые, порядком засаленные пуховики.

Пять дней, не вылезая из седла, мы провели в горах; менялись селения, не тронутые топором леса чередовались с голыми скалистыми склонами.

В заброшенных селениях еще недавно недоступного Зуванда выбирались первые Советы, возникала новая жизнь.

На третий день где-то вблизи появились всадники Шахверана, но напасть на нас они уже не решились.

А в начале осени, когда созрел виноград и заплесневевшие, заброшенные чаны впервые за несколько лет наполнились мутным, начинающим бродить виноградным соком, когда отъевшиеся на рисовых полях кабаны стадами двинулись в горы на усеянные жирными желудями лесные прогалины, когда истеричные шакалы из редющих, тронутых ржавчиной лесов потянулись снова к селениям и по осеннему жалостливо и протяжно завывали о близкой бескормице, о безвозвратно ушедших временах, когда людские и конские трупы давали такую обильную и сытную пищу, — в нежные, еще опаленные солнцем сентябрьские дни дивизию погрузили на закопченные пароходы и увезли на север.



СОДЕРЖАНИЕ

Юнкера	5
На продовольственном фронте . . .	72
Триста четвертый стрелковый... . .	136
Горная страна Талыш ,	214

Кремлев Илья Львович

БЫЛОЕ

Редактор З. Коновалова

Художник И. Незнайкин

Худож. редактор Н. Коробейников

Техн. редактор А. Коняшина

А00574 Подп. к печати 21/III 1959 г.

Бумага $84 \times 108 \frac{1}{32} = 4$ бум. л. =

= 13,12 печ. л. 12,6 уч.-изд. л.

Тираж 90 000 экз. Заказ 1553

Цена 5 р. 30 к.

Типография «Красное знамя»

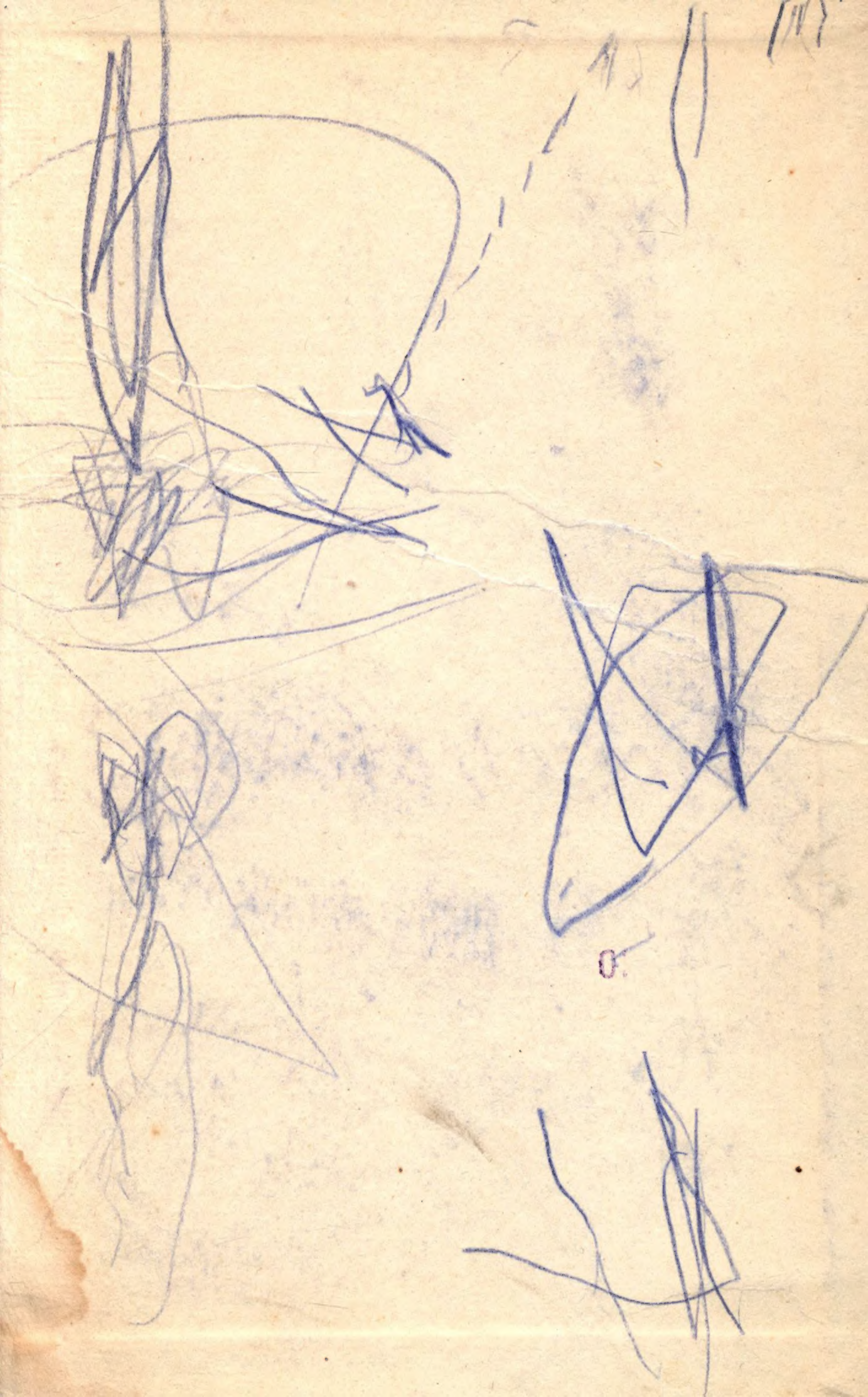
изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-55, Сущевская, 21.









5 р. 30 к.

МОЛОДАЯ ЗАРДНЯ

